

СЕРГЕЙ ВИКУЛОВ

избранное



СЕРГЕЙ ВИКУЛОВ



избранное



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1979

РЭ
В 43

Предисловие
П. ВЫХОДЦЕВА

Оформление художника
М. ЛОХМАНОВОЙ

В $\frac{70402-231}{028(01)-79}$ 65-79

© Предисловие. Издательство
«Художественная литература»,
1979 г.

«ВСЕМУ НАЧАЛО ПЛУГ И БОРОЗДА...»

Одну из своих последних книг Сергей Викулов назвал «Постоянство» (1977). Трудно, пожалуй, подобрать более точное слово для характеристики творческих принципов поэта, имея в виду и жизненные его привязанности, и нравственную основу его поэзии, и даже художественную манеру. С момента выхода первой книжки («Завоеванное счастье», Вологда, 1949) на протяжении трех десятков лет С. Викулов как поэт сердцем своим связан с деревней. После Исаковского, Прокофьева, Твардовского он один из самых ревностных, самых последовательных певцов крестьянской России на ее новом этапе.

Надо обладать огромной силой любви, воистину постоянством сердечных забот, гражданской страстностью и даже мужеством, чтобы, живя в столь бурное поэтическое время, какими оказались 50-е — 70-е годы, не отклониться и не увлечься самыми «модными» проблемами, а с каким-то мужицким упорством вести свою поэтическую борозду. Надо глубоко, не понаслышке знать то, о чем хочешь рассказать читателю, чтобы всю творческую жизнь посвятить, говоря школьным языком, одной теме и всякий раз открывать в ней нечто новое, значительное.

Когда многие поэты, казалось, соревновались в выискивании броских «современных» названий для своих книжек, С. Викулов один за другим выпускал сборники со скромными и простыми, как земля и хлеб, заглавиями: «Хозяева земли» (1950), «Новый берег» (1952), «Заозерье» (1956), «Полюшко-поле» (1958), «Хорошая будет погода» (1961), «Хлеб да соль» (1965), «Околица» (1966), «Плуг и борозда» (1972)... И все о том же — о деревне и ее людях.

Сын крестьянина (С. Викулов родился в 1922 г. в глухой вологодской деревне), с детства познавший нелегкий труд земледельца, его вековую борьбу с суровой северной природой, его быт и нравы, мечты о счастье, его способность переносить великие невзгоды

и необоримо верить в силу земли и труда, поэт впитал в себя, кровно ощутил не только крестьянские заботы и нужды как свои личные, но и нравственные основы поведения, сами представления о добре и зле, о смысле жизни и достоинстве человека.

Будучи сыном своего бурного времени, соучастником великих и малых дел, свершаемых народом, Викулов осознает волнующие его проблемы развития деревни в широкой национально-исторической и социальной перспективе. Свидетель событий 30-х годов, до основания потрясших вековечные устои жизни русского крестьянства, преобразовавших его быт, психологию, миропонимание, солдат Великой Отечественной войны, прошедший с оружием в руках от Москвы и Сталинграда до Дня Победы, награжденный боевыми орденами и медалями, журналист, очеркист и поэт, активно участвующий своим пером в послевоенном строительстве, С. Викулов не мог не связывать в своем сознании проблемы деревни с общенародными, государственными и мировыми проблемами времени. Всем своим творчеством он развенчивает упрощенный взгляд на прошлое и нынешнее состояние деревни как олицетворение консервативности и застоя. Традиционные для русской поэзии темы, — например, «город и деревня», «поэт и народ», — получают в поэзии Викулова новое гуманистическое наполнение и разрешение. Внимательно, в деталях и подробностях, в многообразии красок и человеческих судеб освещая жизнь современной деревни, Викулов нигде не только не противопоставляет ее новому социальному движению эпохи великих научных открытий, но, напротив, постоянно подчеркивает их неотделимость:

Нет, дорога в деревню —
не к тылу дорога.
Нет, сегодня деревня — не тишь да покой.
Как от дота до дота, от стога до стога
здесь бескровный, но яростный катится бой!

(«Окнами на зарю»)

С. Викулов передает полноту духовной жизни людей, добывающих хлеб насущный для всех живущих на земле, не только тем, что показывает жителей деревни в радости и горе, веселье и печали, повседневных заботах и тревогах о будущем планеты, — в самом их, казалось бы, неприятзательном труде поэт увидел духовность, нравственное целомудрие, гуманистическую содержательность. Работа телятницы, сельского кузнеца или колхозного бригадира не только дело жизни человека, утверждает поэт, — она, не менее чем любой другой труд, предполагает наличие высоких, чисто человеческих качеств: сердечности, интеллекта, гражданского самосознания. Особенно характерны в этом смысле поэмы «Трудное счастье», «Песня о друге» и «Письма из деревни».

Образ Родины — центральный в поэзии С. Викулова. Он вырисовывается в своем историческом и социальном облике многогранно и, разумеется, современно. Это и суровые северные пейзажи, и вьюжные метели, и хлебные поля, и рябиновые закаты, и корпуса новостроек, и в тысячи вольт зажженные огни Ангары... Автор умеет не только передать географические масштабы Отечества, трудовые и ратные подвиги его народа, но и подметить неповторимые проявления живой природы, ее земную красоту — услышать, как первый листок расправляет свою ладонь, как тихо падает на землю дождик серебро...

Чувство красоты и практический ум земледельца нераздельно присутствуют почти во всех стихотворениях Викулова о природе («В средние лета», «О погоде», «Молодая зима» и многие другие). На этой основе им создан большой цикл стихов «Мать-Природа»¹, ставящих широкий круг вопросов, связанных с философской проблемой «человек и земля».

Сам поэт настолько слился в своем мироощущении с образом мышления и чувствования своих героев, что передает народный взгляд на события и явления даже в собственно лирических произведениях. Вот, например, любимый в его стихах образ осени:

Спят где-то голосистые грома,
скатившись гулко с плеч высоких лета...
Лишь слушают
тоскливый посвист ветра
под крышами глухими закрома.

(«Кисть рябины»)

Прослеживая от книги к книге развитие художественного миропонимания и мастерства С. Викулова, нетрудно заметить, как, будучи по складу натуры поэтом эпическим, он постепенно углубляет лирическое начало, освобождается от иногда свойственной ранним стихам описательности, смелее идет к широким поэтическим обобщениям, испытывает себя в различных стихотворных жанрах — от портретной зарисовки до философской миниатюры. В стихах последних лет усилилась песенная образно-ритмическая основа. В ряде прекрасных лирических стихотворений («Что ты рвешь свою гармонию...», «Как немного сердцу надо...», «Тропинка к дому», «У реки» и др.) Сергей Викулов сумел тонко воспроизвести интимные чувства и переживания героев в духе народно-поэтических традиций. В самой атмосфере этих стихов, как и специально посвященных образам народных песен и сказок («Бабушкины песни», «Русские сказки»,

¹ В настоящем издании часть цикла преобразована в поэму «Она не скажет...». (Примеч. ред.)

«Той киргизской дружеской вечеркой...»), читатель хорошо ощущает дух современности как бы сквозь дымку вековой национальной культуры. Вообще следует заметить, что образно-словесная система поэта многими своими качествами опирается на живое узорчатое народное слово.

Но как бы ни изменялась, как бы ни обогащалась поэзия С. Викулова в своем развитии, ей свойственны устойчивые качества внимательного исследования народной жизни и народных характеров. Особенно полнокровно проявилась эта особенность дарования в поэмах Сергея Викулова.

Сам поэт объясняет свою устремленность к эпическому повествованию желанием сказать как можно больше о реальном в жизни деревни, способствовать практическому решению ее больших вопросов. А это, в свою очередь, заставляет автора быть предельно достоверным и конкретным в своих описаниях, бескомпромиссным в поисках истины, равнодушным до обнаженной боли к горькой правде, порой даже публицистически резким или дидактически откровенным. О поэзии С. Викулова можно сказать, что ее ценнейшее достоинство состоит именно в том, что она является правдивой летописью русской северной деревни 40-х — 70-х годов.

С. Викулову принадлежит более десяти поэм, различных по проблематике, сюжету, жанровой характеристике и стилю. Среди них — поэмы широкого эпического повествования о многотрудной жизни деревни («Против неба па земле», «Преодоление»), поэмы характеров («Трудное счастье», «Одна навек», «Песня о друге»), произведения лиро-эпического содержания, в монологической форме которых слиты воспоминания и раздумья о судьбах страны («Окнами на зарю», «Конек на крыше»), поэмы, представляющие собой своеобразную лирическую исповедь («По праву земляка», «Дума о Родине»), наконец, рассказ о современности от имени рядового крестьянина («Письма из деревни»).

Поэмы С. Викулова интересны и содержательны не только точностью зарисовок, живописностью, яркими характерами, но и смелостью авторской мысли, емкостью затрагиваемых проблем. Поэзия сельской жизни, крестьянского труда передается с большим тщанием и пониманием. Но мы нигде не найдем умилительных интонаций, преклонения перед ветхозаветной стариной. Его герои, как и сам поэт, мыслят и чувствуют современно и по-государственному, любят и в прошлой и в сегодняшней деревне то, что выражает ее трудовую основу, ее поэтическую душу. Например, в образах доярки Анны («Трудное счастье») и сельского кузнеца Ивана Шилова («Песня о друге») прекрасно типизированы черты нового хозяина земли.

Исторически тернистый путь русской деревни убедительно рас-

крывается в лирических поэмах «Конек на крыше» и «Окнами на зарю». Викулов сумел очень органично связать нелегкую историю деревни с историей страны, заботы и нужды крестьянина — с главными заботами века. Емко и символически названная, поэма «Окнами на зарю» и по своему пафосу, и по структуре, и по мыслям и мироощущению, по всему образному строю близка таким эпическим произведениям, как «За далью — даль» А. Твардовского, «Признание в любви М. Луконина, «Седьмое небо» В. Федорова и др. Она звучит как героическая и драматическая песнь о народе-труженике, вынесшем на своих плечах тяготы и невзгоды века, отстоявшем в суровых испытаниях свою судьбу и свои идеалы. Размышляя о том, как после революции «страна избяная и гордо и просто» «расставалась решительно с прошлым», сама выбирала себе путь, сама «взрывала извечную соню», строила Днепрогэсы, осваивала Северный полюс, спешила «на каблук подковаться скорей», сменить «рубаху под пояс» на «рабочую блузу, железную статью», поэт ищет ответа, почему все же земля становилась не только матерью, но и мачехой. Подвиг «мужика» сравнивается с величайшими историческими подвигами, а история деревни оценивается как социально-нравственный урок. Вот почему, признается поэт,

...И когда я кричу,
что деревню люблю.— это значит, Россия,
я тебе в этом чувстве признаться хочу.
Ты иная сегодня. Ты в космос врубилась..
Но, и громом ракетным встречая свой день,
я хотел бы, Россия, чтоб ты не забыла,
что когда-то
ты вся началась с деревень.

Поэтический мир Викулова, завязавшийся в крестьянской избе и на крестьянском поле, расширился, обогатился до масштабов Отечества и Земли, хотя по сути своей остался деревенским. И в этом нет ничего ни дискредитирующего поэта, ни унижительного для него. Сергей Викулов с гордостью песет звание певца крестьянской России, кредо свое он выразил в стихах:

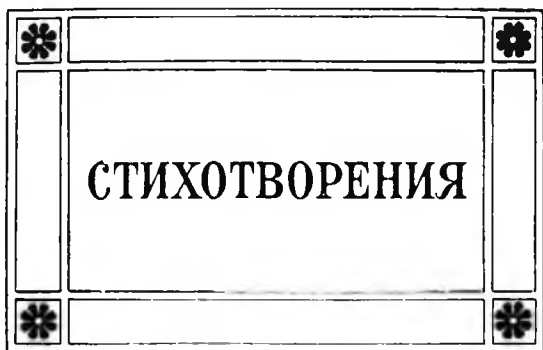
Всему начало — плуг и борозда,
поскольку борозда под вешним небом
имеет свойство обернуться хлебом.

Не забывай об этом никогда...

(«Плуг и борозда»)

...Постоянство!

П. Выходцев



ПЛУГ И БОРОЗДА

*Всему начало — плуг и борозда,
поскольку борозда под вешним небом
имеет свойство обернуться хлебом.*

*Не забывай об этом никогда:
всему начало —
п л у г и б о р о з д а.*

*А без начала, ясно, нет конца,
точнее, не конца, а продолженья,
ну а еще точнее — нет движенья
и, значит, завершенья нет.
Венца!*

*О, сколько раз мы —
век сменяет век —
успели утолить познания жажду
с тех пор, как сделал борозду однажды
и бросил зерна в землю человек.*

*Растут, бессчетно множась, города,
Луна
людским становится причалом...
Начало ж остается все началом,
и суть его все та же —
б о р о з д а.*

*Не забывай о нем у пирога
и даже перед сном, смежая е. ки, —*

как забывают о начале
 реки,
раздвинув беспредельно берега.

*И если стала близкой нам звезда
далекая,
скажи, не оттого ли,
что плуг не заржавел,
что в чистом поле
вновь обернулась хлебом борозда?!*

Не забывай об этом никогда.

1971

О ТИШИНЕ

Степная речка высохла давно.
И экскаватор, берегом ступая,
речушки этой глинистое дно
и день и ночь без усталости копает.

Сырого грунта гулкие шлепки —
как взрывы бомб.
А на земле, устало
тяжелые раскинув кулаки,
спит мастер сменный:
знать, давно не спал он.

Как богатырь, лежит он на спине
в комбинезоне, выцветшем от пота...

Вот так же спят солдаты на войне
меж двух атак, под рокот пулемета.

Спит человек. И даже видит сны,
в которых лес, пшеница у дороги...
А вот случись минута тишины —
и вскочит он, как воин по тревоге!

1952

* * *

На костореза тонкую работу,
постичь желая суть ее, гляжу...
С трудом поэта родственное что-то
в работе костореза нахожу.

Он трудится и долго и упорно,
и под резцом, едва еще видны,
вдруг оживают кружевом узорным
и были, и преданья старины.

Но, прежде чем созданием искусства
обломок кости станет, сколько раз
угрюмый косторез, доверясь чувству,
его резцом коснется, щуря глаз!

И все ж, дивясь терпенью костореза,
я с завистью гляжу на кузнеца,
чей грубый труд — поэзия железа —
в тяжелых взмахах и в поту лица...

Вот белый брус из пышущего горна
кузнец рывком под молот подает
и сталь тугую, ставшую покорной,
как будто глину, комкает и гнет.

Могучи, и уверенны, и точны
удары кузнеца... Твердеет сталь!
И вот уже, сработанная прочно,
звеня, на землю падает деталь.

И трудно это кажется, и просто!..
Хотел бы я постигнуть до конца
и терпеливость резчика по кости,
и вдохновенье кузнеца!

1953

НА ЛУГУ

Как хорошо остановить машину,
распрячь коней — пора и отдохнуть,—
присесть под куст и к горлышку кувшина
губами пересохшими прильнуть.

Напиться всласть — а квас и злой
и крепкий! —
и добрым словом помянуть жену.
Потом прилечь, надвинув на лоб кепку,
и долго-долго слушать тишину.

А тишина, как марево, густая.
Стучат в траве кузнечики. И ты
средишь с улыбкой, как шмели, летая,
считают уцелевшие цветы.

Здесь столько ими собрано нектара!
И хочется участливо сказать:
«Спешите же, осталось два гектара.
Вот отдохну — и буду запрягать!»

1954

* * *

Начать бы так стихотворенье:
«Я помню чудное мгновенье...»
Но было все совсем не так.

В окопе, перед наступленьем,
курили молча мы табак.
Час оставался до сраженья.
А там (на то она — война!)
кого-то спишет со снабженья
навечно ротный старшина.

Но не об этом, не об этом
все ж думал я...
Меня ждала
в краю, где тихие рассветы,
девчонка нашего села.
Хорошие слова сказала
мне на прощание она...

Вставал рассвет. Грозь обвалом,
плыла над фронтом тишина.
Часы показывали восемь.
Шепча проклятия врагу,
в окоп свалился письмоносец
с тяжелой сумкой на боку.
Конверт мне сунув:
— Не иначе,
как от нее опять, — сказал.

«Любимый мой!» — смеясь и плача,
я в первой строчке прочитал.

Но вот за дымным лесом где-то
проснулся гневный бог войны,
и в небо красная ракета
взлетела с нашей стороны.
Взлетела медленно, тревожно...

Я падал и вставал опять...
Я верил: счастье невозможно
из тысяч пушек расстрелять!
А пули пели. Мимо, мимо!..
И мины падали в траву.
Я знал, что мне необходимо
дожить, и верил: доживу!

...Так день за днем...
В огне и дыме
прошла зима, потом весна...
Все ж опоздал я... Ты прости мне:
четыре года шла война.

Где ты теперь? Кто мне расскажет?
А впрочем, это все равно:
я позабыл тебя. И даже
все письма сжег давным-давно.
Забыл. Пришла пора иная...
Но я себе напрасно лгу:
я, о тебе не вспоминая,
о прошлом думать не могу.
Ведь ты со мною в дни ненастья
была на линии огня...
А это... это было счастьем,
по крайней мере для меня.

1955

ЧЕРЕМУХА

В ветвях черемухи высокой
ленивый бродит ветерок.
Соцветья пахнут вешним соком,
но не цветут: не вышел срок.

А солнце выглянет немножко,
и на черемухе, легки,
расправив белые ладошки,
несмело вспыхнут лепестки.
Один расколется бубенчик,
другой снежинкой зацветет...

Но климат здешний переменчив.
Вдруг столбик ртутный упадет,
потянет сыростью с болота,
гром прогудит над головой...

И в грудь черемухи с разлета
ударит ветер верховой.
Ударит, скомкает, закружит,
дождем холодным обольет.
А поглядишь — она на стуже
еще неистовей цветет!

Она цветет, не гнется книзу,
а спорит с ветром в высоте.
Цветет, упрямая, как вызов
оранжерейной красоте!

1955

ЧТО ТЫ РВЕШЬ СВОЮ ГАРМОНЬ...

Не горят былым огнем
мои очи синие.
Без тебя мне с каждым днем
жить невыносимее.

Дрогнут где-нибудь басы —
гляну из окошка я:
по тропе, через овсы,
ты идешь с гармошкой.

Грудь открыта, горяча.
Кепка набок съехала...
От плеча и до плеча
гнется синемехая.

И поют, поют, звеня,
голоса-бубенчики...
Что изводишь ты меня,
ветер переменчивый?

Что ты рвешь свою гармонию
до зари, отчаянный?!
Лучше шел бы ты домой,
сердце не печалил мне.

Лучше б молча на ремне
нес гармонию усталую,
чтоб она не пела мне
про любовь про старую.

1956

КАК НЕМНОГО СЕРДЦУ НАДО...

Как немного сердцу надо!
Ничего не говорил,
только сел со мною рядом,
только сел и закурил.

Закурил, вздохнул глубоко,
а не высказал — о чем?..
Только раз плечом широким
за мое задел плечо.

Вот и все... Кружились пары.
Тополь вздрагивал, высок.
И дымил и сыпал парень
искры желтые в песок.

Много раз ложились росы
с той поры на берегу.
Но дымок от папиросы
все забыть я не могу.

Все мне снится мой желанный!
Ах, зачем, — клянусь его, —
закурил он, бесталанный,
возле сердца моего?!

Для чего он сыпал ворох
желтых искр?.. Ему ль не знать,
что девичье сердце — порох,
что огня не миновать!

1956

ПЕСНИ В СТАРОМ ДОМЕ

А. И. Сушинову

Вот и укатали сивку горки...
Борода седа, туманен взор.
Будто бы и не был он Егоркой,
будто вечно старым был Егор.
Кто теперь он? Дряхлая осина:
и стоит еще, а не живет...

Выхлопотал пенсию за сына,
что пропал без вести в грозный год.
И за то спасибо добрым людям...
«Отдыхай!» — твердят и стар и мал.
Отдыхай... Но как он, отдых, труден
для того, кто век его не знал.

Поутру дровишек для сугрева
выйдет нарубить себя Егор,
постонит, топор сжимая в левой,
правою крестясь на косогор,
в сторону, где белая когда-то
церковка гудела на юру...
Хлебных крошек вынесет цыплятам,
раз-другой пройдетя по двору —
нету дела! Скучно, одиноко...
Сядет на скамейку у крыльца.
— Не гоши кобылу-то без проку! —
Крикнет на иного сорванца.
Пробегут девчата мимо — спросит:

— Лен-то весь посеяли аль нет?..—
И опять тоскует... Не выносит
горького неведения дед.
Забредет в колхозную контору,
посидит, покурит — и назад:
счетоводам не до разговоров,
счетоводы мало говорят,
не с кем побеседовать Егору!..
Оттого не в радость ни цветы,
ни теплынь ему...
Но в эту пору
повидаться с ним из Воркуты
дочь явилась. И не ждал, не ведал!
Чемодан взвалила на скамью
и достала гнутую для деда
трубку, чтобы помнил дочь свою...
Чтоб не тосковал, как прежде, старый,
чтобы не торчал в конторе он,
привезла она еще в подарок
бабышке ящик песен — патефон.

Знал давно Егор об этой штуке,
слыхивал не раз в чужом окне.
Но чтоб так вот в собственные руки
песню взять — не снилось и во сне!

...Дочка подняла проворно крышку,
завела «Рябину»... И когда
песня смолкла, он сказал чуть слышно:
— Ишь ты! — И потом негромко:— Да...—
И ни звука не прибавил кроме:
что-то с места стронулось в груди...

А через неделю в старом доме
вновь остался дед Егор один.
Утром, молока отпив из кринки,
как колдун, садился он к окну,
и крутились черные пластинки
в знак повиновенья колдуну.
«Степь да степь кругом...»
А перед взором,
где-то там, за песней, вдалеке,
оживала молодость Егора
в старом домотканом армяке.

Вспомнилась сивая кобылка,
зимний, лесом, путь до городка,
жирная хозяйская ухмылка
Жабина Алехи-кулака.
Он ли не старался для Алехи!..
Да однажды — господи, прости! —
в клуню, конопаченную мохом,
ночью петуха таки пустил.

До рассвета, страхом обуяна,
в темноте заветного крыльца
убивалась лада Маремьяна
на плече упрямом молодца.
«Вызнают, Егорушка, засудят!..»

Не узнали. Пронесло беду...
Только чаще с этой ночи люди
кланялись Егору на ходу!

...А потом заречные поляны
видели нередко их вдвоем.
Мыли росы косы Маремьяны,
соловьи не спали для нее.
А однажды под березкой белой
засиделись досветла они...

«Распрямись ты, рожь!..—
пластинка пела,—
тайну свято сохрани!»

Рожь! Она, бывало, по угору
встанет — колос к колосу — стена!
До зерна — своя!.. И все ж Егору
вспомнилась чаще не она.
Не она, докучная,— другая:
с жаворонком в небе голубом,
буйная, высокая, тугая,
межи захлестнувшая кругом.

И Марюта вспомнилась чаще
на колхозной, общей полосе...
Жатва бабам — праздник настоящий:
выйдут утром, вырядятся все,
запоют... Была Егора женка

первою певуньей на весь край.
На дожинках люди крикнут звонко:
— Ну-ка, Маремьяна, запевай!

И она, взглянув кругом несмело,
в кофточке, по-девичьи пряма,
пела так, что... Нет, она не пела —
становилась песнею сама!
«В низенькой светелке» — выводила...
Хоть давно по-новому жила,
песни все же старые любила:
в девках их еще переняла.
Пела про любовь и про измену,
про лихую долю... В те года
знала и себе Марюта цену,
а гордилась мужем навсегда.

И не зря: Егор трудился честно,
в доме был достаток и уют
(песни мрут от голода, известно,
песни в светлых горницах живут!).
Рядовым работником и властью
был Егор — вчера еще батрак...
Думалось, конца не будет счастью,
а на деле вышло все не так.

...В знойный полдень, в поле,
прямо к стогу,
на буланом взмыленном коне
прискакал парнишка босоногий
с вестью о войне.

И померкли солнечные дали...
И в пыли разбитых большаков
уж не пели женки — причитали,
проводя к фронту мужиков.
А на завтра жали и косили,
шли за плугом, утирая пот,
дочери сражавшейся России,
удивительный народ!
День и ночь работают, бывало...

И Егор старался, сколько мог.
Выдюжил — а сердце-то сдавало —
вынес... Но Марюта не сберег.

Умирала просто, как с беседы
уходила... Горестней всего,
что не дожила до Дня Победы
труженица вечная его.

...Снова бьет в окно заря румяна.
Нарядились в лучший свой убор
лес и та, заречная, поляна...
И вернись сейчас бы Маремьяна —
нет, не удивился бы Егор!

Выдвинул бы стол на середину,
встрече с ней, как в молодости, рад.
Для нее «Уральскую рябину»
прокрутил бы десять раз подряд.
«Вот, мол, есть какне песни поне!»
Ей бы по душе пришлось она...

Музыка гремела в патефоне.
И вздыхал и плакал старина.
Был ему и горем и отрадой
дочерин подарок дорогой.

Ну, а людям... Людям то и надо:
плохо ль, если песни под рукой.
Вечером, идя домой с покосов,
обогнут Егорушкин сарай,
побросают к огороду косы,
сядут на завалинку:— Играй! —
И старик, послушный и спокойный
открывал все окна в палисад,
ставил патефон на подоконник
и играл, что было, все подряд.

Плыли песни... Опускались росы...
Люди замирали у крыльца...
И, забыты, гасли папиросы,
и восторгом наполнились сердца.
А старик сутулился плечами,
подперев ладошкой щеку,
словно сам рассказывал сельчанам,
что пришлось изведать на веку.

1956—1957

ВЕСЕЛАЯ РУКА

Ударил сок живительный в оттаявший сучок,
и лопнул клейкой почечки ядреный кулачок.
И в небо синне-синее над полою водой
не лист березка вскинула —
расправила ладонь,
с прожилками, зеленую, негромкую пока...
Ах, до чего у дерева веселая рука!
Шершавая — не нежена! — зубчатое ребро.
То щедро сыплет на землю дождинок серебро,
то синь начнет процеживать,
то солнечный песок,
то лепит ветру шалому ладошкой в висок...
И вся, как откровенне, березка на ветру.
Ее, как друга старого, я за руку беру.
И, лопоча, с доверием — нам вспомнить есть
о чем! —
другую руку дерево кладет мне на плечо.
Испытывает: крепко ли я на земле стою
и свой ли я по-прежнему в березовом краю.

1957

* * *

В стихах
деревенских идиллий
и сам я терпеть не могу.
Но вы по покосам бродили,
вы спину хоть раз натрудили
с косой на заречном лугу?
Вы пили из речки с коленей,
за быстрым теченьем следя,
хоть раз засыпали на сене
под вкрадчивый шепот дождя?
О, тихие дождики эти,
без луж на дорогах, без гроз!
Не те, о которых в газете
заране дается прогноз.
Пойдет он — не сразу расслышншь,
вдруг капля слетит — замечай:
как будто бы пяткой о крышу
ударит комар невзначай.
Помедлит — и снова ударит...
А рядом начнут топотать
четвертый, десятый комарик,
пятнадцатый... Не сосчитать!
Лежишь околдован, как сказкой
дождя комариною пляской
и запахом сена медовым,
лежишь, не считая минут,
доволен постелью и домом,
в котором нашел ты приют.
Скрипит полуночная птица:

«Спать, спать» — словно «баю-баю».
Тебе ж еще долго не спится,
ты думаешь думу свою
про то, что хлеба этим летом
добры — колосок к колоску,
что лучше, по многим приметам,
живется теперь мужику.
«Спать!» — снова, себя не жалея,
надсадно скрипит коростель.
И веки твои тяжелеют.
Все глубже и мягче постель.
Ты валяешься в сон, словно в воду,
подумав, что завтра опять
хорошая будет погода
и надо зарю не проспять.

1958

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

М. Дудину

В день святого Пантелеймона
(впрочем, тут ни при чем святой),
повернувшись спиной к иконам,
пили женщины — дескать, что нам! --
мутной браги хмельной настой.

Угощали друг друга рьяно,
грубо, попросту, по-мужски.
Пели звонко, плясали пьяно
и смеялись до слез. С тоски.

А тоска велика, без меры.
Встанут в круг, подперев бока,—
сами дамы и кавалеры,
ни единого мужика.

Ну, хотя б один завалищий,
даже пусть инвалид какой.
Покурил бы, коли курящий,
уцелевшей обнял рукой...

Нету! Даже за гармониста
(научила всему нужда)
тоже баба — толстушка Христя,
радость горькая и беда.

Ах, и что за гармони были
раньше — Христиной ли чета!

Где те парни? Одних убили.
А другие ушли, забыли
эти северные места.

Пляшут женщины:— Ах вы, сени!
Пой, тальяночка, норови! —
Шумно в горнице, а веселья —
нет веселья, хоть впрямь реви.

Может, с песнею вдоль посада
им пройтись бы — рука в руке —
и себя и свои наряды
показать бы — да перед кем?
Ходят улицей, крутозобы,
только куры да петухи...

Трудно: где же вы, хлеборобы?
Скучно: где же вы, женихи?

1958

ЧЕРЕМУХА НА ДЕРЕВЕНСКОЙ УЛИЦЕ

Ее, молодую, из лесу когда-то
хозяин в деревню принес на плечах.
Он вырыл ей яму железной лопатой,
он полил ей корни водой из ключа.
И встала черемуха рядышком с домом,
и любо ей было занятие одно:
места по карнизам зеленым подолом
пахучей метелью швыряться в окно.
Да терпкие ягоды — много ли, мало —
дарить ребятишкам в ладони... Но вот
однажды ни окон, ни дома не стало,
один лишь бурьян по соседству растет.
Куда ни протянет черемуха руки —
зовущие руки — кругом пустота.
Ей снятся калитки знакомые звуки,
ей грезится окон резных высота,
и песня про горы златые, и говор
из окон, и хромки лихой перебор...
Вот так и хозяин, уехавший в город,
наверно, тоскует о ней до сих пор.

1953

ПЕРЕД ДОРОГОЙ

— Уезжаешь?
— Уезжаю.
— Тесно, что ль, в родном доме?
Хоть убей — не понимаю,
уезжаешь почему.

Злясь, четвертую сигарку
бригадир свирепо жег,
уговаривал доярку,
отговаривал как мог.

— Без стыда ты, Анка! Разве
я тебя не уважал?
Или заработок мал?
Или не в чем выйти в праздник?
Иль в душе запал пропал?
Уезжать
в такое время!
Все невзгоды позади...
Ты сама-то посуди:
получила десять премий,
двадцать, может, впереди!

Повернулась к бригадиру,
чемодан толкнув ногой:
— Ты меня не агитируй,
бесполезно, дорогой!

По избе как ветер дунул —
шаль рванула со стены:

— Понимаешь?.. Зря ты думал:
мне не премии нужны.
Не наряды... Что в них толку?
Перед кем, позволь спросить,
этим штапелем да шелком,
уважаемый, форсить?
Коль в деревне, не соврать бы,
нет гармонии ни одной,
коли праздники и свадьбы
нас обходят стороной?

Клуб у черта за болотом,
нет отрады никакой...
Надоела не работа —
скука! Понял, дорогой?
Да притом, я не старуха
и как будто не урод,
чтоб остаться вековухой
из-за премий ваших, вот!

Бригадиру даже жарко
стало. Пятую сигарку
завернул и прикурил.
И не глядя на доярку:
— Ты права...— проговорил.—
Ты права. И все ж рисковно
поступаешь. Посуди:
женихи-то дома скоро
будут... Слышала, поди?
Свадьбу справим, да такую,
что одна на белый свет!
— Вот тогда и потолкуем.
А сейчас охоты нет.

Встала возле чемодана:
— До свидания...— И вдруг
опустилась. Зарыдала...

Бригадир вздохнул устало,
смял сигарку о каблук.

КОНЮХ ТАРАС

— Все же вспомнили старика! —
крякнул конюх, захлопнув двери.
На крылечке, ушам не веря,
развернул документ в руках.
Буквы в памяти вороша,
по складам прочитал: — Пу-тев-ка, —
и, с крылечка ступив в потемки,
вдоль деревни направил шаг.

В избу весел вошел и горд.
Но, раздевшись, сказал степенно:
— Собери узелок, Елена.
Еду утречком. На курорт.
— Печка теплая — хоть сейчас,
коли вздумалось, можешь ехать.

Бабку аж затрясло от смеха:
не поверила. А Тарас
понял это совсем не так:
— Что же я? Недостойн, стало?
Иль еще поработал мало? —
И обрушил на стол кулак.
И пошел задаваться дед
перед бабкою — нету сладу.
— Я ль не я выручал бригаду,
звери-лошади, десять лет?!

Я ли сбруей не дорожил,
я ль к коню подходил без ласки?!

Так ужель от колхозной власти
я спасибо не заслужил?

А курорт в двадцати верстах
был всего лишь — подать рукою.
Бором славился да рекою,
очень тихую в тех местах.

Дед добрался туда за час.
Сунул рубль за проезд в кабину,
попрощался. И «жизнь-малина»,
как считал он сам, началась.

Сразу в бане помылся дед.
Баня жаркой была, признаться.
Только венника похлестаться
не нашлось. Да уж нет, так нет.

Возвратился — зовут за стол,
чай несут, пироги с начинкой.
А Тарасу бы четвертинку
или граммов хотя бы сто.
«Год не пей, — золотой совет, —
два не пей, но уж после баньки
для здоровья, не ради пьянки,
выпей!» — вспомнил при этом дед.

А хозяевам ни к чему...
В белых чепчиках да халатах
отвели старика в палату.
— Отдыхайте, — велят ему.

Лег. Да где там! Заснуть не мог.
«Неужели при коммунизме
вот такая и будет жизнь?» —
думал, глядя на потолок.

День прошел. И второй, длинён
от безделья и даже скучен.
Монастырской тоской измучен,
ночью конюх увидел сон,
будто корма иссяк запас,
будто сбруя вконец разбита...

Утром не было аппетита,
окончательно спик Тарас.

Сам «культурник» его таскал
и в кино, и на танцы в клубе.
Но не шла, хоть убей, на убыль
сногшибательная тоска.

Вместо отдыха как-то раз,
распорядок нарушив строгий,
не без умыслу на дорогу
прогуляться пошел Тарас.

Было холодно. Сиверок
дул, и сосны шумели глухо.
Вспомнил: «Валенки у старухи
не подшиты. А мог бы, мог».
И решил: «Передам наказ,
чтоб сюда прислала с оказьей».

По дороге, заляпаны грязью,
шли подводы домой как раз.

Погоняли коней сплеча
два курносых молокососа.
Тяжело вертелись колеса,
по камням в колее стуча.
На опавших боках коней
шерсть блестела в поту и мыле,
будто их три дня не кормили
и не чистили сорок дней.

Охнул конюх, узнав ребят,
в грудь ударила боль тупая.
— Стойте,— яростью закипая,
крикнул,— стойте, вам говорят!

Подскочил, хватил по плечу
ездового и вырвал вожжи.
— Марш с телеги сейчас же! —
с дрожью
крикнул парню.— Штаны спущу!
У-у, работнички. Бить бы вас...
Трогай, милая.— И с разбегу
неуклюже вскочил в телегу
и вожжами потрянул Тарас.

Дождь забрызгал. И он промок.
Ехал, правил и все ругался.
И жалел о том, что остался
бабкин в тумбочке узелок.

1958

РАБОТА

Мой дядя — отменный коваль. Но знает любой
в колхозе,
что, если нужда заставит, он сможет поставить дом,
и печку сложить сумеет, и сможет согнуть полозья,
да так, что перед народом
не стыдно будет потом.

Над самым мудреным делом он весел и самовластен:
кует — молотком играет, стругает — как песнь поет.
Глядят на его работу и ахают люди: «Мастер!»
А «мастер» хохочет только,
со лба утирая пот.

За что ни возьмется дядя — одна у него забота,
чтоб вещь не уродцем хилым глядела, а молодцом!
Бывает, кивнув на что-то, он скажет: «Моя работа!»
И вещь улыбнется будто,
довольная кузнецом.

Таким я его и помню — с веселым огнем во взгляде...
Он шлет и теперь мне письма из наших краев глухих.
Большие, как щепки, буквы: рука тяжела у дяди.
Читаю: «Недавно видел
работы твоей стихи.

Поскольку племянник пишет — прочел до последней
строчки.
Добро поработал, парень, скажу тебе... Молодец!»

Держу я перед глазами с каракулями листочки,
как будто держу награду...

Спасибо тебе, кузнец!

Спасибо за то, что труд мой,

ты, знающий цену пота,
ты, ведающий усталость, которая валит с ног,
ты, мастер, — горжусь я этим, —
без скидок назвал работой,
которую тоже трудно, как всякую, делать в срок.

Спасибо тебе, герой мой, читатель и добрый критик!
Я верю тебе. И счастлив я буду, когда смогу
сказать о стихах, не прячась:

моей работы, смотрите!
И глянуть в глаза открыто товарищу и врагу!

1958

ПО ЯГОДЫ

О, этот праздник бабьего набега
за клюквой на болото Журавли!

Корзины грудой сложат на телегу,
мешки в корзины бросят — и пошли!
Длинна-длинна дорога до болота,
да не скучна... Идут у колеса
и языками будто бы молотят,
пересыпая смехом голоса.

И сколько тут отчаянных да храбрых,
готовых правду резать напрямки:
мол, что ж мы смотрим, что ж мы терпим,
бабы,

опять всю власть забрали мужики!
Мы с вилами — они с карандашами,
мы с ведрами — с кистетами они...
Да что ж мы, бабы, хлопаем ушами,
не бережем, не ценим трудодни?
Все мы да мы, какая ни работа.
Пора приструнить крепко мужика!

Нет, не длинна дорога до болота.
А с разговором даже коротка.
И вот уже разобраны корзины,
подоткнуты подола высоко,
и зубчатая, в елочку, резина
уже следы печатает легко
на мху, где клюква, словно на подушках,
лежит, как буби-kozyри, красна.

И оставляют женщины друг дружку,
и сразу наступает тишина.

Широко разбегаются в расчете
скорей — гляди, чтоб кто не перебил! —
найти такое место на болоте,
где ягод — хоть лопатую греби!
Не жадность подгоняет: знают твердо,
что хватит ягод всем в болоте, но
отстать от прочих собственная гордость
не позволяет!
Сыплются на дно,
подпрыгивая, мокрые рубины...

Но дрогнут руки вдруг в минуту ту,
когда глухарь чуть не из-под корзины
взлетит, испуган, с ягодой во рту.
— Фу, дурень экой! — провожая взглядом
шалющую птицу, женщина вздохнет.

И вновь берет. И вот уж полон ягод
мешок. И кто-то голос подает.
— Ау, ау! — из глубины болота
доносится.— Ау! — звенит в лесу.
— Пошли домо-ой! — зовет чуть слышно
кто-то.

А кто-то ближе:— Ой, не донесу.
Ой, родненькие, лопнет поясница...
— Убавь,— кричат,— коль ноша велика!

А на дороге старичок-возница
уже в оглобли ставит меринка.

И, глядя, как с мешками на дорогу,
шумя, выходят женщины, ворчит:
— Ой, бабы, бабы... Глупые, ей-богу!
Набрали — мужику не утащить!

КНЯЖИЦА

Когда наступает
хлебов косовица,
в лесу поспеваает
княжица, княжица.
Ах, ягода-лада,
утеха для взгляда,
вкуснее и слаще
малины из сада!

Коль женщины наши
в лесу сенокосят,
для Танек, для Яшек
княжицу приносят.
Зеленые листья,
багряные кисти
на солнце сверкают
рубинов лучистей.

Княжица, княжица,
лисичкин подарок!
Мальчишечьи лица
светлеют не даром.

Княжица, княжица,—
не зря говорится.
Ее, знать, растила
княжна иль царица.

Растила до срока,
росой поливала,

чтоб полнилась соком,
скорей созревала.
Как хвоя ресницы
у этой царицы,
а щеки, а губы
румяней княжицы.

Лесные владенья ее
не обмерить.
Ей служат с раденьем
и птицы и звери.
И, может, лисица
там главный садовник...

Кистями княжица
ложится в ладони.
Не как угощенье
для Мишки иль Васьки,
а как продолженье
маманькиной сказки.

1959

РАЗГОВОР С ПОПУТЧИКОМ

Е. Макаровскому

Край наш — это верно, брат,—
виноградом не богат.
И земля у нас сырая,
и болота широки.
Но на свете лучше края
нет, считают земляки.

— Хорошо у нас в краю,—
сами шутят,— как в раю!
Клюквы, луку да рябины
отродясь не переесть.
А брусники, а малины
в нашем крае сколько есть?!

Верей от ворот —
вот какой у нас народ!
Плечи в сажень, грудь горою,—
пальца в рот им не клади.
На работе землю роют!
Был — так видывал, поди.

Ваших, коль молва не врет,
на работе дрожь берет.
А у наших пышут лица
от жары — не похвальба, —
наши в стужу рукавицей
утирают пот со лба.

Рубят, брат, не байки бают.
Но зато и за столом
щи да кашу подметают
ложкой, словно помелом!

А когда за самовары
сядут (солono солят!),
пьют, покуда клубы пара
из сапог не повалят.

Сахар есть — внакладку пьют,
вышел весь — вприглядку пьют,
пьют с малиной, пьют охотно
с клюквой — ягодой болотной,
потому как виноград
здесь не зреет. Верно, брат!

Но ведь мы вперед глядим,
сложив руки не сидим.
Кое-где и в нашем крае
по весне цветут сады...

А короче — хватит хаять
край наш: не было б беды.

1959

ДОСКА ПОЧЕТА

В комнате, где косточки на счетах
щелкают весь день наперебой,
на стене висит Доска почета,
почему-то в рамке голубой.
А на ней, достойны преклоненья,
женщины. Четыре поколенья!
На груди — то брошка, то медаль,
то и ничего... А на коленях —
руки — не последняя деталь!

Не в сиянье нимбов божьи лики —
смотрят на меня еще с Доски —
всемогущи в поле и велики,
более чем боги — мужики!

Смотрит на меня сама Работа.
Светлая — к чему ей позолота!
Гордая — ее я понимаю,
разбитная — все ей по плечу!
Вот она какая... Я снимаю
шапку перед нею. И молчу.

ДЕРЕВЕНСКОЕ СОБРАНИЕ

Деревенское собранье
(деревенское — заметь!)
я люблю, скажу заранее.
Я готов на нем сидеть,
коль случится, до полночи,
не вставая, как в кино.
Да оно, сказать, короче
не бывает все равно.

Коли добрая погода,
полусонные с тоски,
на собрание приходят
первым делом старики.

На порог садятся, на пол —
до собранья битый час, —
молча скручивают в лапах
тридцать три сигарки враз.
Курят мирно. Ожидают
баб: нельзя теперь без баб!
Ну, а тем напиток чаю
прежде надобно хотя б,
сделать кое-что по дому,
коровенок подонть.
Кто их в этом деле, вдовых,
к слову, может заменить?!

Наконец, приходят. В кофтах,
сшитых с милой простотой,

не обижены ни ростом,
ни, конечно, широтой.
И садятся: Марья с Настей,
рядом, ладом — дочь и мать.
И верховный орган власти
начинает заседать.

Ух, собрание! Негде плюнуть,
негде яблоку упасть!
Ну, а ежели подумать —
потому оно и власть!
Тут речей не произносят,
тут, коль надо, говорят.
Тут за правду — кровь из носа,
тут в беде — за брата брат!

Как навалятся все вместе,
как поглаживать начнут
против шерсти, против шерсти —
взмокнешь весь за пять минут!
Что ни худо, где ни слабо —
виноваты мужики.
Ох и бабы, ну и бабы —
жала, а не языки!

Председатель стукнет, брякнет
по графину, по столу:
мол, давайте по порядку,
мол, потише там, в углу!
Смолкнут резко «автоматы».
— Кто желает? — Тишина.
Смысла нет: у виноватых
без того горит спина...

«ЗАКУРИТЬ — ДА БЕЖАТЬ»

Жил-был мужичок (не припомню, как звать)
по прозвищу: «Ну, закурить — да бежать».

Бывало, проснется — росу опекло.
И бабы, с серпами уйдя за село,

уже по суслону успели нажать...
Зевнет он: «Хо-хо! Закурить — да бежать».

И тотчас же, лежа еще на боку,
возьмет из кисета щепоть табаку

и трубку набьет, как богатый сосед
под осень зерном набивает сусек.

Зажжет, запалит, задымит в две ноздри —
хоть лопни от зависти, черт побори!

Бывало, подыметя солнце в зенит,
а трубка не гаснет, а трубка дымит.

Заборист, пахуч самосад-табачок!
Так с трубкой в зубах и встает мужичок.

Чего-то попьет, пожует на ходу
(известно, как дорого время в страду!) —

и в поле, взяв трубку с собой да кисет...
Родится ж такой «торопыга» на свет!

Однажды, едва он засел за обед,
в окошко к нему постучался сосед:

«Пожар, понимаешь... беги! — говорит.—
Овин у тебя, понимаешь, горит!»

Мужик поперхнулся, в окно поглядел,
остаток похлебки из блюда поддел,

подумав: «Беда-то какая опять»,
И трубку достал: «Закурить — да бежать!»

Народ за деревню, к овину народ,
а он еще только с ведром в огород.

Воды зачерпнул, прибежал. Посмотрел —
овина-то нету... Сгорел!

...Я вспомнил о нем, просидевши вчера
в колхозной конторе часа полтора.

1959

ДЕВЧАТА

А. Яшину

Сон свалил деревню. Поздно.
Спит зеленая страна.
Только месяц, только звезды,
да гармонь не спит одна.

Там девчата-хохотушки —
гармонист у них в чести,—
словно семечки,
чапушки
сыплют под ноги друг дружке
до полуночи почти.
Что им сон — девчатам нашим!
Каблучками словно шьют.
От любви сгорают — пляшут,
от измены сохнут — пляшут,
и зимой и летом пляшут —
как они не устают?!

А была война — плясали
все равно и в дни войны.
Встанут: парни-дролы — сами,
и гармонисты — тоже сами,
сами — песельницы, сами,
наконец, и плясуны.

Были болью, были мукой,
не стихавшей ни на миг,

эти песни о разлуке,
эти пляски «под язык».

Да и пели-то, признаться,
для того лишь, может быть,
чтобы вдруг не разрыдаться,
чтобы в голос не завывать.

Злы и грубы были песни.
Пели так —
и в этом суть,—
чтоб врага не пулей если,
так хоть словом полоснуть!

А хотелось песен светлых.
Но была без пареньков
кладовая слов заветных
заперта на семь замков.
Годы шли — но не тускнели
те слова в сердцах девчат...
«Скоро ль, серые шинели,
возвернетесь вы назад».

Сгинул, минул срок тот страшный...
По траве да по росе
воротились помилашки,
воротились, да не все.
И летела в край из края
о девчоночках молва:
чуть не каждая вторая —
незамужняя вдова.

Две недели, три недели,
сто недель потом подряд
пели... плакали и пели
те девчонки, говорят.

А однажды замолчали:
на другом конце села
без тоски и без печали
песня крылья развела.
Полетела, словно эхо
песен, спетых до войны,
одаряя смехом, смехом
все четыре стороны:

«Девочки, любовь горячую
носите под платком.
Я носила под косыночкой —
раздуло ветерком».

Половодьем песен этих
ты, мой Север, и хорош!
Спит округа. Месяц светит.
Сны досматривает рожь.
Желторотые грачата
в гнездах спят, и спят грачи
возле гнезд... Одни девчата
ходят с песнями в ночи.
Ходят улицей знакомой.
И у каждой для дружка
песен сто с собой да дома
под завязку — два мешка!

1959

КОГДА ЖЕНИТСЯ ДРУГ

Я ночь пахал и день пахал
и вновь штурвал верчу.
Я, черт возьми, не отдыхал
и очень спать хочу.
Я знаю, что такое труд.
Но я не знал, ей-ей,
что веки могут весить с пуд,
а то и тяжелей.

Мотор гудит. Башка гудит.
Сильней гудит башка.
Ругаю, на чем свет стоит,
я своего дружка
за то, что нет глотка воды,
а жажда сушит рот,
за то, что он в разгар страды
жениться вздумал, черт!

Да, да, жениться! Есть одна
в селе девчонка-звон.
Не знаю я, в уме ль она,
но ясно — спятил он.
Еще все дело впереди,
еще пахать, пахать...
Но я ему сказал:— Иди!
И перестань вздыхать!

Вторая ночь. Второго рассвет
спешит по полосам.

И мнится мне, а может, нет,
что я железный сам.
Во мне взрывается бензин,
и бодрствуют во мне
полсотни лошадиных сил,
рожденные в огне.

Иду, дымя и грохоча.
Туман в глаза течет...
А он, наверное, сейчас
ее целует, черт.
Прилип — водою не разлить,
сошелся клином свет.
Эй, перестань меня дразнить!
Ты слышишь или нет?

И я не прочь свою обнять,
я обещался ей.
Но не привязывать же, стать,
полсотни лошадей,
когда земля поспела вся
и сеятеля ждет...
Заря, как рыжая лиса,
из-за лесов ползет.

Ползет... А сон свое берет.
Темно в глазах моих...
Но кой там дьявол рот дерет?
А, это ты... жених!

1959

СТРОКА МОЯ

Колхозный радиоузел. Черемуха у окна.
Деревенка в два посада. И вечер. И тишина.

Я должен пред микрофоном стихи прочитать сейчас.
Листаю страницы книжки, волнуясь, как в первый
раз.

Не область меня услышит и даже не весь район —
всего деревень пятнадцать, в лесах с четырех сторон.

Но в каждой из них я, может, не раз ступал на
крыльцо,
и многих — не понаслышке — я знаю давно в лицо.

Вернулись, должно быть, с поля они с полчасика назад,
и руки их на коленях, невымытые еще, лежат;

и зноем, и ветром пахнут, и черной землей полос,
лежат, расчесать не в силах прилипших ко лбу волос.

Я вижу их, землеробов. Разувшись через порог,
они к самоварам сели неспешно: всему свой срок.

И пьют, наливая в блюдца, и лбы рушниками трут...
А время идет: осталось не более трех минут.

Что мне прочитать такое, чтоб в избу вошел мой стих.
Как запах от каравая, что корочкою хрустит.

Вошел, как сама работа, как гул посевной страды,
как женщина входит в избу с ведром ключевой воды.

Как добрый сосед заходит по делу, а то и нет.
И в доме по-русски просто кивают ему в ответ.

Его угощают хлебом, ему наливают чай...
Но — щелкнул выключатель. Время.
Строка моя, выручай!

1959

ЖИВУ НА ЗЕМЛЕ

Как пращур камушки,
ракеты
швыряет в небо человек.
Какая тема для пээта!
Двадцатый век — великий век!
И мы не то чтоб перестали
дивиться, но при всем при том,
как о событии простом,
мы говорим: «В луну попали»,
привычно в небо ткнув перстом.

И все-таки — великолепно!
Того и жди, что через год
еще в одну планету влепит
железным камушком народ.
Народ не чей-нибудь — тот самый,
какому я принадлежу.

Так что ж я все-таки, упрямый,
не в небо — на землю гляжу?
Печалюсь, если где-то что-то
еще не так, как быть должно:
тут не осушено болото,
здесь осыпается зерно.
А там, за Тотьмой, бездорожье
такое же, как в старину...

Да, это мелко и ничтожно
пред попаданием в Луну.

Да, мало чести петь про это,
когда над сказкой верх взяла
мир изумившая ракета...

И я встаю из-за стола,
на перевернутой странице
не написавши ни строки...

Весна на улице. Дымится,
оттаяв, матушка-землица.
Возле правленья мужики
сидят, районную газету
и табачок пустив на круг,
и тоже что-то про ракету
и фантазируют, и врут.
Каков, гадают над вопросом,
у марсианок внешний вид.

Но бригадир, окурок бросив,
встает и вот что говорит:
— Довольно, кажется. Пора нам
идти, пожалуй, отдыхать.
Луна — Луной, а завтра рано
нам Землю все-таки пахать.

И улочкою коленстой
идет домой. И я иду.
Волнуясь, о странице чистой
припоминаю на ходу.
Иду, ощупывая взглядом
тропинку. Начало темнеть.

Я на земле живу. И надо
мне все же под ноги глядеть!

1960

И МОЯ ЗАСЛУГА

Позволь отдать тебе поклон,
великое Светило,
за то, что в этот год теплом
ты нас не обделило!

Гляжу, идя вдоль полосы,
с каким усердьем в час росы
твои лучи-пройдохи
пшеницу тянут за усы
и за уши горохи...

Да и в саду с тобой в ладу
дела идут блестяще.
На редкость в нынешнем году
ты, солнце, работаешь!

И в том, что нива не пуста,
что небывало рожь густа
и тянет медом с луга,
твоя, конечно, доброта,
но... и моя заслуга!

Ого, вставал я сколько раз,
когда еще ты спало,
пахал уже, когда ты глаз
еще не открывало!

И в час, когда ты на покой,
устав, за лес валилось,

вовсю еще я за рекой
работал, ваша милость!

И как работал! Неспроста
в полях такая красота.
И за красу такую
дай, брат, в горячие уста
тебя я поцелую!

1960

БАНИ ТОПЯТСЯ

Как под праздник, разом все
в огородах бани топятся.
Мужики домой торопятся:
наконец-то кончен сев!

Не грешно после страды
и попариться маленечко...
— А готовы ль, женки, венички?
А наношено ль воды?
Нам бы в баньку прямиком!
Десять ден, а может, более
умывались потом в поле мы,
утирались ветерком.

Пышут жаром у реки
бани. Веники окачены.
И штаны, в земле испачканы,
скидывают мужики.
И, нырнув в жару, рычат,
чешут спины просоленные...
Как взрывчаткой начиненные,
камни в каменках трещат!

Ковш, еще два ковша
с ходу опрокинуты.
Веники вскинуты:
— Оттаивай, душа!
Ух, как хорошо! —

На полке устроился
и пошел, и пошел —
выше, ниже пояса...
А пар клубится
вокруг мужика:
— Подайте рукавицу,
не терпит рука!

Но буйствует веник,
но веник сечет:
вставай на колени,
сдавайся, черт!
И жжет и кусает
и грудь и бока
и на пол бросает
с полка мужика!

Ништо, отлежится.
Откройте-ка дверь.
Ему еще мыться,
тереться теперь.
Мазутные пятна
с мозолистых рук
и в бане, понятно,
отмоешь не вдруг.

Пышут жаром у реки
бани. Мыло в шайках пенится.
Спины трут себе, не ленятся,
трактористы в две руки.
Поперек и вдоль сто раз!
По домам идут, как новые.
Там их ждут — давно готовые —
самовары на столах.

МАТЬ И ДОЧЬ

Прибежала с работы
в избу, как на пожар.
Пить до смерти охота,
надо греть самовар.

Только бабе Алене
не до чаю пока:
под окошком теленок
клянчит: «Да-ай молока!»
Во дворе у калитки
коровенка мычит,
в стайке, как недобитый,
поросенок кричит,
овцы где-то пропали,
а на улице ночь...

Злится: пальцем о палец
не ударила дочь!
Кличет:— Зойка! Зоюшка! —
распахнувши окно.

А Зоюшка с подружкой
убежала в кино.
Ни к чему-то у девки
душа не лежит.
Как заслышит припевки,
бросит все, убежит.
Да подальше от дому

поровит: «Веселей!»
Горе с дочкой: чужому
порадеет скорей.

Обругаешь — упрямо
отвечает одно:
— Жить по-вашему, мама,
в наше время смешно!
Глянь, что пишут в газетах:
к коммунизму идем!
Вам же — только и света,
что в хозяйстве своем.
Вам кусок бы поболее
да покрепче запор...

Ох, обиден до боли
бабе этот укор.
Потому-то Алена
каждый раз и ворчит...

Все еще не доёна,
коровенка мычит.
Подхватила подойник —
и во двор... В кулаки
зажимая ладони,
потянула соски:
вжик! — «Да стой же ты, дура!»
Тихо, мирно кругом.
Но Аленина дума
о другом, о другом.

Сена нет для коровы.
Сердце вот как болит!
— До чего ж неваровый! —
бригадира бранит.—
Что бы дать хоть немножко
покосить! Ни стожка,
ни единой копешки
за душой вель пока.
Зиму долгую снова
пробивайся как хошь...
Не вести же корову
в самом деле под нож!

Репродуктор рокочет
в доме. В клубе кино
началось уже... Впрочем,
ей не все ли равно...

1960

У РЕКИ

(По народным мотивам)

Речка солнышком сверкала,
а в реке девчонка
платье мыла-полоскала,
колотила звонко.

У девчонки ноги босы,
руки белы, как белье.
Ехал парень с сенокоса,
загляделся на нее.

Молод был, но не дал маху,
рядом встал на камень:
— Постирай мою рубаху
белыми руками!
Пред тобой, моя отрада,
не останусь я в долгу:
дом построю, если надо,
у реки на берегу!

И девчонка разгадала
парня с полуслова:
— Сшей мне туфельки,—
сказала,—
из песку речного.

— Что ж! — тряхнул он кудреватой
разудалой головой.—

Напряди мне только дратвы
из росинки полевой!

Рассмеялась звонко:— Ох ты! —
И, лукавя, снова
загадала:— Сшей мне кофту
из цветка живого!
Лепесточек к лепесточку
не спеша принорови.
Да когда погонишь строчку,
матерьяла не порви.

Согласился парень:— Ладно!
Только попрошу я
сослужить мне службу, лада,
службу небольшую.
Слышишь, звякает уздечкой,
бьет копытом мой гнедой.
Встань на камушек средь речки,
Напон его водой.

Озорно взлетели брови:
— Я исполню это,
если ты мне дом постронть
сможешь до рассвета,
чтобы окна, чтобы стены,—
все в нем было изо льда!

Парню море по колено,
отвечает парень:— Да! —
И встает над грудой платья
на плоту с ней рядом:
— Разреши поцеловать мне
руки твои, лада!

Обнял девушку за плечи
и услышал от нее:
— Разрешаю... до крылечка
донести мое белье!

ПЕРВЫЕ УРОКИ

Сергею Орлову

Ликбез припомнился сейчас мне.
Тогда меж делом, на дому,
учились люди... Я причастен
и сам к учению тому.
По вечерам, как на работу,
заботу ведая одну,
я шел учить письму и счету
Авдотью — мельника жену.
Светились избы мутным светом.
Я шел, достоинство храня,
нарочно мимо сельсовета,
чтоб люди видели меня.
Совсем малыш еще, нимало
не обижался я на то,
что мне Авдотья помогала
и дверь открыть, и снять пальто,
даря при этом мне улыбку...
А я садился у окна
и ждал, покачивая зыбку,
пока обрядится она.
Я ждал. Она дрова послала,
гремела ведрами в углу,
потом брала на руки сына
и подвигалась с ним к столу.
Смолкал, на радость мне, мальчишка,
поймавши розовый сосок.
А я лавал Авдотье книжку

и начинался наш урок.
Урок. Теперь уж чувств тех самых,
наверно, я не передам,
когда впервые слово м а м а
она читала по складам.
Когда, старания и веры
полна, она в свою тетрадь
писала трудные примеры:
и дважды два, и пятью пять...
Мы с нею многое умели,
мы с нею многое могли.
Но приходил с работы мельник,
весь, до бровей, в мучной пыли.
Авдотья тотчас убирала
свою тетрадку и, пока
он мылся, быстро накрывала
нехитрый стол для мужика.
— И ты поел бы, скоро — восемь...—
И угощала пирожком.
И подпоясывала после
меня отцовским ремешком,
совала в руки мне конфетку...
И я, идя домой, опять
решал, какую же отметку
Авдотье выставить в тетрадь...

1960

* * *

Стихи мои о деревне
и радость моя, и боль!
Кто зову земли не внемлет,
едва ль вас возьмет с собой
в дорогу — развеять дрему...
Глухому к земле, ему
стихи про Фому-Ерему,
сермяжные, ни к чему.
Томов со стихами — груды.
А в тех, говорят, томах
что ни страница — чудо,
что ни куплет, то ах!
Новаторские, блестящие,
строка о строку звенят.
А вы, мои работающие,
в пыли с головы до пят.
Не очень-то вы нарядны
и — где уж там! — не модны.
Вы будничны, не парадны...
И все-таки вы нужны,
я верю, тому, кто в поле
упрямо растит зерно,
чьи с коих-то пор мозоли
в стихах поминать грешно...
Старо и неблагозвучно!
Да полноте, остряки!
А ваши-то белы ручки
не потому ль мягки,
что эти не в меру каменны —

не руки, а жернова!
В мозолях все, как в окалине...
Нужны ли еще слова!
Добры, горячи по-русски
и грубы на первый взгляд,
корявые эти руки,
красивые эти руки
и впрямь чудеса творят!
Держите ж голову гордо,
стихи мои! Мы и впредь
о них, не жалея горла,
по-своему будем петь!

1961

* * *

А мне порой дружки-приятели
толкуют с видом прорицателей:
мол, пропадешь ты ни за грош,
поскольку в Вологде живешь!
И добавляют саркастически:
мол, в наше время —
век иной! —
талант не так уж поэтический
необходим, как пробивной,
чтоб широко начать печататься...
А ты в провинции, чужак!

Так обо мне порой печалятся
дружки мои. Примерно так.
А я: «Мерси вам за внимание!»
И отхожу... Но что скрывать:
живут, как вирусы, в сознании
моих наставников слова.
И нет да нет

от одиночества
вдруг засосет вот тут, в груди,
и до того в Москву захочется,
что хоть пешком туда иди!

И начинаю я укладывать
свой чемодан: «Найдется дел...
И побывать в журналах надобно,
и потолкаться в ЦДЛ...»

Но... мудренее утро вечера.
Встаю и вижу поутру,
что все же мне покуда нечего
в столице делать,
и беру
недорогой билет до Кадуя.
И вот уж, с места взяв разгон,
стучит-бежит, мне сердце радуя,
междурайонный мой вагон.

Мои попутчицы — молочницы,
им, как и мне, недалеко.
Галдят, кругля круглее обруча
«о» в модном слове «молоко».
А через час с порожней тарою
с подножки прыгают в траву...

Гляжу на их одежку старую
и вспоминаю вновь Москву.
«О, я к тебе, золотоглавая,
еще приеду! Но пока
мне путь сюда, поскольку главная
еще не найдена строка».

И я иду тропинкой по лесу
да по зеленому лужку,
иду, ведомый жаждой к поиску
и добрым чувством к мужику.
И не жалею, что не съездил я
в Москву... Иду, упрям, вперед.
«А может, здесь река Поэзия
начало все-таки берет?!»
Да вот она — незамутненная!
Склоняюсь я и жадно пью
ее гремячую, студеную,
ее дремучую струю.
Не кипяченую, из чайника,
в котором в накипи эмаль...

И право ж, вас, мои печальники,
по-человечески мне жалы!

* * *

Оглядываюсь с гордостью назад:
прекрасно родовое древо наше!
Кто прадед мой? — Солдат и землешец.
Кто дед мой? — Землешец и солдат.
Солдат и землешец мой отец.
И сам я был солдатом, наконец.

Прямая жизнь у родичей моих.
Мужчины — те в руках своих держали
то плуг, то меч... А бабы — жены их —
солдат земле да пахарей рожали.

Ни генералов нету, ни вельмож
в моем роду. Какие там вельможи...
Мой прадед, так сказать, не вышел рожей.
а дед точь-в-точь был на него похож.

И все ж я горд, — свидетельствую сам! —
что довожусь тому сословью сыном,
которое в истории России
не значитя совсем по именам.

Не значитя... Но коль неволю
терпеть ему обиды становилось,
о, как дрожать вельможам доводилось,
шаги его расслышав за версту!

Ничем себя возвысить не хочу.
Я только ветвь на дереве могучем.
Шумит оно, когда клубятся тучи,—
и я шумлю... Молчит — и я молчу.

1963

* * *

Жара. Перехожу речушку вброд,
притихшую, заглохшую, безрыбную.
Иду по дну, на камушки не прыгаю...
А было, помню, все наоборот.

Характером напористо-крута,
отведав талой влаги в водополицу,
мутна до дна, река через околицу
рвалась куда-то с пеною у рта.

И куры-дуры хлопали крылом
в подола, оглашая берег криками.
И речка, возомнив себя великою,
неслась, как говорится, напролом!

А где-то, даже в паводок светла,
в глубинах отразив и небо с тучами,
и лес, и зори вешние, меж кручами
действительно великая текла.

Она качала грузные суда,
плоты ташила и крутила лошасти,
она из берегов, не зная робости,
могуче выходила иногда.

И в ней, борясь с течением, на дне,
где вечно камни грудятся зеленые,
ворочались, как мысли затаенные,
большие рыбы — в самой глубине.

Она не торопила их на мель,
чтобы услышать крики удивления.
Исполнена упрямства и терпения,
она текла за тридевять земель.

На совесть дело делая свое,
река текла, широкая и вольная.
Без славословий. Тем уже довольная,
что люди воду пили из нее!

1963

* * *

Читаю книжицу изящную —
аж скулы ломит: не могу!
Как будто на воду стоячую
гляжу, присев на берегу.

Молчит вода, забита тиною.
Лишь иногда пузырь всплывет,
да за букашкой, противная,
лягушка с кочки сиганет —
и снова тишь...

Измучен дремою,
встаю, не дочитав листка.
И слово русское, ядреное
само слетает с языка.

Ого, словцо!
Острее лезвия,
оно сверкнуло над прудом,
как лаконичная рецензия,
и очень точная притом.

И вновь поверилось, поверилось,
что есть и реки и моря.
И вновь уверенность, уверенность
рванула на борт якоря!

И значит — в путь!
И значит — в плаваньё!
Наперекор ветрам — туда,
где в борт высокий — это главное! —
живая плещется вода!

1963

РУССКИЕ СКАЗКИ

О сказки! О бессмертные творенья,
далеких предков наших сочиненья,
на полках не лежавшие вовек!

Кто вас творил?

Доподлинно известно:
русоволосый, живший повсеместно,
с умом расхожим русский человек.

Творил стоустно, слово подбирал
правдивое, не мудрствуя лукаво.
Он, как творец, имел на это право.
Он все из жизни брал.

И если врал —

не из тщеславья, жаждая успеха,
и не из лести — участи льстеца
в сем деле он не ведал... Врал для смеха,
из озорства, для красного словца!

Он был рабом, творец. Его пороли
и били в зубы с маху кулаком,
и в шею гнали, коль просил он воли,
и бранно называли дураком.

А он, дурак, был вовсе не дурак!
В своем углу, где крепок дух овчинный,
он хохотал над барами, да так,
что тухли, в стенку воткнуты, лучины

и лопались застежки на портах!
И слово — все, чем он владел пока,—
рождало эхо. Грохотало громом!
И поднимался во весь рост над злом он
в обличии Ивана-дурака.
Он все умел, дурак, и все он мог!
И неспроста, играя опояской,
он ухмылялся в ус: мол, сказка сказкой,
а дело — делом... Дайте только срок!

1963

БАБУШКИНЫ ПЕСНИ

Помню зимние вечера.
Снова дует сегодня с севера.
Входит в валенках со двора
наша бабушка, Олексеевна.
Из подойника молоко
льет в посудинки, дужкой брякая...

До спанья еще далеко.
Еще бабушка сядет с прялкою,
небольшой, но такой баской,—
словно в горенку глянет солнышко.
И закружится веретенышко,
зажужжит под ее рукой.
Запотрескивают дрова,
свет заплещет у ног — в два лучика...

И придут ей на ум слова
песни старой про Ваньку-ключника.
Под жужжанье веретена —
прядись, ниточка, прядись, тонкая,—
поплывет по избе она
и неспешная и негромкая.
Вся страдание и печаль,
вся о том, как княжна коварная
миловала-любила парня,
Ваньку-ключника, по ночам.

Завывает метель в трубе
знобко, жалостно... А в избе
льется песня — печаль-забавушка.
И, раздумавшись о себе,
о злосчастной своей судьбе,
утирает слезинку бабушка.

Ой, не выюгою ли шальной
ее тропочка заматается!
Песня льется, переплетается
с тонкой ниточкою льняной.
И протяжна, и широка,
и ничем таким не расцвечена,
выпрядается бесконечная
вместе с ниткой из кужелька.

1963

РАЗДУМЬЯ В ПОЛЕТЕ

Расположившись в мягких креслах,
летим... Смешно сказать: л е т и м!
Опять приносит стюардесса
бифштексы нам, и мы едим.
И запиваем крепким чаем,
и дым пускаем в небеса.
И что летим — не замечаем,
не ощущаем. Чудеса!
Земля под нами еле-еле
плывет в разводах облаков...

О господи, как тихо едем!
Как тут не вспомнить рысаков!
— Эгей, родимые! — вожжами
тряхнет ящик — и понесли,
тревожно прядая ушами,
вдоль-поперек самой земли.

Перевернут — не дай бог, круто
рванутся в сторону!.. А тут
всего пятнадцать верст в минуту.
Везут тебя и не везут.
И ни столба, чтобы заметить,
как ты несешься, ни куста...

Все относительно на свете:
размеры, скорость, высота.

И ты, поэт, свою вершину
преодолев, не меряй, брат,
успех свой собственным аршином,
не торопись на марш-парад.
И преждевременной победой
не упивайся, в рог трубя...

Такие ль
прадеды и деды
вершины брали до тебя?!
Все относительно на свете...
И все ж приятно свысока,
прикладываясь к сигарете,
смотреть вот так на облака —
не снизу вверх,
букашкой сущей,
не так, как смотрят на карниз,
а самовластно, всемогуще
и потрясенно —
сверху вниз!

1963

ОСЕНЬ В БЕРЕЗОВОЙ РОЩЕ

Сквозь чащу леса поределую,
один, за ветром по пятам,
пришел вчера я в рощу белую,
а там — гуляние... А там
березы водят хороводы:
октябрь — а им и горя нет!
И, мать честная, вижу — мода
и у берез на рыжий цвет,
и у осин...
Над всем пространством
и бронзы отблеск и огня.

Лишь ели с мудрым постоянством,
темнея, смотрят на меня,
как будто шепчут: ненадолго...

Но их не слушают, легки,
березки. Сыплют из подолов
на плечи елям пятаки.
Сорят налево и направо:
мол, все равно идут года.
То было рано, было рано,
а будет поздно — что тогда?!

И принимаются раскачивать
опять свой белый гибкий стан,
от чувств пьянея нерастраченных,
пустив по ветру сарафан.

А то, обнявшись, станут парами
и зябко песню заведут,
как на деревне девы старые,
что все еще чего-то ждут...

1963

БАЛЛАДА О ХЛЕБЕ

Я помню: мы вышли из боя
в разгар невеселой поры,
когда, переспевшие, стол
ломались хлеба от жары.

Ни облака в небе, ни тучи.
Не чая попасть на гумно,
слезой из-под брови колючей
стекало па землю зерно.

Солома сгибала колени,
как странник, уставший в пути...
В Ивановке — местном селенье —
Иванов — шаром покати!

Авдотьи кругом да Оринны,
короче — солдатки одни.
И видим: еще половины
хлебов не убрали они.

Уставшие — шли не с парада, —
не спавшие целую ночь,
мы все же решили, что надо
хоть чуточку бабам помочь.

И тут же, по форме солдаты,
душой же все те ж мужики,
мы сбросили пыльные скатки,
составили в козлы штыки.

И в рост — во весь рост! —
не сражаться
пошли,— нетерпением горя,
пошли со снопами брататься,
в объятья их по три беря.

Мы вверх их вздымали, упрямы,
и запах соломы ржаной
вдыхали, хмелея, ноздрями
на поле, бок о бок с войной.

И диву давались: когда-то,
еще не начав воевать,
от этакой вот благодати
мы даже могли уставать...

Сейчас же все боле да боле
просила работы душа.
И мы продвигались по полю,
суслонем чубы вороша.

Мы пели б —
наверное, пели б,—
работу беря на «ура»,
когда бы ребят не жалели,
схороненных нами вчера.

Им было бы так же вот любо,
как нам, наработаться всласть,
и сбросить пилотки, и чубом
к снопам золотистым припасть.

Вдохнуть пеостывшего зноя,
и вспомнить па миг в тишине
родимое поле ржаное,
и, может, забыть о войне.

Забыть, что фашист насаждает,
забыть, что у края жпивья
винтовка тебя ожидает,
а вовсе не женка твоя.

Но было забыть невозможно.
Платки приспустивши до глаз,

тоскливо, печально, тревожно
глядели солдатки на нас.

Им виделась жатва иная...
Они из-под пыльных платков
глядели на нас, вспоминая,
конечно, своих мужиков.

А мы все ломали работу,
носились, не чувствуя ног,
седьмым умывались потом
в последний, быть может, разок..

И слепли от этого пота,
И очень боялись, вот-вот
раздастся жестокое:— Ро-та!
И все, словно сон, оборвет.

1964

ВЕСЕННИЙ БАЗАР

Люблю заглянуть на весенний базар.
Там — вплоть до последнего ряда —
отличный товар, ходовой товар,
а имя товару — р а с с а д а.

Рассада? А может, отрада? Да, да!
А может, надежда?
Я вежлив:
— Отрады,— прошу,— положите сюда.
И горсть, если можно, надежды.

Дородная тетя — весенний загар
у ней на щеках под платочком,—
смеясь, подает мне веселый товар —
две горсти зеленых росточков.

И вновь в чернозем окунает до дна
ладони... И можно ручаться:
надежды, которые людям она
сейчас раздает, возвратятся
под осень сюда... И прогнутся борта
машин, что придут с огорода.
У тети дородной в глазах доброта,
и вера — в глазах у народа.

А рядом, пуская махорочный дым,
и мрачен, и жалок, и скучен,
заезжий стоит гражданин, а пред ним

поджаренных семечек куча.
— Берите! — басит он.— Кому завернуть?

О как ты смешон, человеке!
Вот осень придет — и тебя помянуть
нам будет решительно нечем...

1964

ДЕРЕВЕНСКАЯ ОСЕНЬ

Да, сыро. Да, порою зябко...
И все ж, наветам вопреки,
мне осень видится хозяйкой,
глядящей вдаль из-под руки.

А что во взгляде том? — Забота.
А что в улыбке? — Доброта.
Одна закончена работа,
другая — только начата.

Глядит — и нет понятней взгляда,
и молвит, кажется, слова:
мол, чем богата — тем и рада!
И наполняет кузова

машин пшеницею да рожью
и отправляет на тока.
И терпеливо ждет порожних,
ждет, кулаки уткнув в бока.

Стоит — одной ногой в отаве,
другой — в стерне... А у плеча
птиц растревоженные стаи
на юг проносятся, крича.

И ветер северного края,
гудя басовую струной,
румянит щеки ей, срывая
багрянец с юбки продувной.

И хмурится она, на тропы
обрушивая облака.
Нет, не печалится — торопит
по-матерински мужика.

1965

ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ

Громобойные тюки
на бока навьюча,
на луга из-за реки
накатилась туча.
Заняла — ну и прыть! —
небо все в два счета
и пошла нас бомбить
с птичьего полета.

Ну а мы ей: «Дуй!
Поддавай жару!
Нам такой сабантуй
по душе, пожалуй.
Ведь без ливней да гроз,
без тревог, без пота
сенокос не сенокос,
черная работа».

По морям, по волнам
мы бредем босые.
Ой, не крикнуть ли нам
да на всю Россию:
«Дождик, дождик, пуще,
чтобы травка гуще,
чтобы выше лен, чтобы
хороводами грибы,
ягоды кистями —
собирай горстями!»

Дождь, дождь, припусти,
ваше благородье,
чтоб успело подрасти
все, что в огороде.
Чтобы встали под горой,
крякнув: «Все в порядке!» —
новобранцами в строй
кочаны на грядке.

Расплеснись по полосам,
поднеси напиток
пострадавшим овсам,
ячменям, пшеницам.
Заряди на три часа,
чтоб не было мало,
чтоб не только по усам,
чтобы в рот попало!

Дождик, лей, лей, лей
на меня и на людей!
Что касается меня —
лей, товарищ, хоть полдня,
я не поперечу.
Я рубашку скину:
полощи мне плечи,
полощи мне спину.

Наклонюсь: «Вот добро!
Ну, еще кружку!
Ну, еще одно ведро!
Ну, еще кадушку!

Не скупись, брат! Уважь!
Я ж таскал копны...»

И вошел дождик в раж
и в сто ног топнул
на моей на спине.
Брызги из-под пяток!

Ох и весело мне
под дождем, ребята!

ЛАСТОЧКИ

И было пробужденье
как рожденье,
как воскресенье даже!.. Я лежал
среди сарая старого на сене
(я с детства спать на сене обожал!).
Лежал, свой кров случайный изучая,
покоем наслаждаясь, тишиной,
зеленую постель свою плечами
приятно ощущая. И спиной.

Что разбудило вдруг меня так рано?
То ль дальний скрип уключин на реке,
то ль взбáлмошное бляенье барана,
то ль солнца луч, подкравшийся к щеке?
То ль куры, примерявшиеся к гнездам,
то ль удалое пенье петуха?
А может, бригадира окрик грозный?
А может, барабанка пастуха?

Да только нет, едва ль... Я это слышать
привык... И вдруг, почти над головой,
на жердочке, где веники под крышей,
я ласточек увидел! Боже мой,
как весело там было! «Чирли-чили!»
Какой там гам стоял — не передать!
И отчего бы?! Ласточки учили
своих смешных детенышей летать!

«А ну, вот так,— мне слышалось в том game,—
а ну смелее! Экая беда...»
И с жердочки соседней: «К маме, к маме!» —
манили желторотых от гнезда.

А им — о, как хотелось им за мамой
перелететь: ведь это ж так легко! —
им, глупеньким, до жердочки той самой
казалось бесконечно далеко.

Мать возвращалась и садилась рядом
и крылышки держала на весу...
А у крылечка, видимо с нарядом
явившись, бригадир шумел вовсю:
— ...Ну, молодежь! Им все бы в город,
в город!

В училище, а то и в институт!
Ну да, нужны ученые, не спорю.
Но ведь кому-то надо же и тут!
Когда бы возвращались из училищ —
оно бы, верно, можно подождать...
Так ведь никто!

...А ласточки учили
своих смешных детенышей летать.

1969

Я ВЫШЕЛ К СТОГУ

Дождь шел такой: он сеялся, не лился,
как осенью бывает,— моросил.
И лес был тих, и облетали листья
последние с березок и осин.

И плыли тучи, днищами провиснув
до пажитей, до пасмури лесной,—
медлительные, грустные, как мысли,
как мысли поздней осени самой.
И журавлиный клин торил дорогу
над лесом в чужедальнюю страну...

Промокнув и устав, я вышел к стогу
и снял с плеча ружье: «Передохну».

Надергав сена и поджав колени,
я втиснулся в убежище спиной
и стал, затихнув, слушать день осенний
и дождик, моросивший надо мной.

И я услышал листьев лёт, и шорох
дождя, и дуновенье ветерка.
Услышал,
как мурашки — целый ворох! —
скатились книзу от воротника.
И капельку увидел, что висела
на стебельке, прогнувшемся дугой.
И запах сена, знойный запах сена
вдруг различил...

И вспомнил день другой.
Тот — давний и недавний...
Это было
у озера, на самом берегу.
Метали стог. Я то и дело вилы
вздымал, а ты стояла на стогу.
А ты стояла, утопая в сене.
«Эй, берегись! — кричал я.— Подаю!»
И видел только лишь твои колени
и колоколом юбочку твою.

Нет, силой я не хвастался, ей-богу,
тогда... Я ждал лишь, дело торопя,
когда ты, вскрикнув, скатишься со стога
и я поймаю на руки тебя.

Тебя — не подступись! — вообразую,
тебя — с поглядом строгим свысока,
пока чужую, да, пока чужую,
но ведь чужую именно пока!

И ты для виду только будешь злиться
и отбиваться: «Кто тебя просил?!»

...А дождь все шел. И облетали листья
последние с березок и осин.

1969

ПОДНИМАЙСЯ, МОЙ ДОМ...

Дом рубить посредине лета,
на виду у родных полей —
нет, не сыщешь — пройди полсвета! —
дела этого веселей!

В чубе — щепок летящих крошево,
блики солнышка на спине.
А на сердце — одно хорошее,
а плохое все в стороне.
Поднимайся, мой дом, как звонница,
полнись светом и радуй взгляд!
Здесь вот будет, конечно, горница,
здесь вот — комната для ребят.
(Будут! Что ты поджала губы?!
Строим дом, а не монастырь.)

Ну а здесь вот окно прорубим,
чтобы в очи и даль и ширь.
Чтоб откинула занавеску
и увидела, вздрогнув чуть,
как оттуда вон, из-за леса,
я с работы домой качу.
Чтобы вскрикнула: «Ах, Володечка!»
Мигом глянула в зеркала
и умыться мне из колодечка
холодяночки припасла.

Ну а здесь вот кипеть веселью!
В красном, как говорят, углу

в день осенний на новоселье
мы родню соберем к столу.
Пусть поахает, подивится,
пусть порадуется родня,
пусть опробует половицы,
в пляске головы наклона,
пусть ударит частою «дробью»
вот хоть здесь, у стола, хоть тут,—
словно вкопанные, не дрогнут
рюмки, капельки не прольют!

...С самой ранней зари-денницы
и до ночи я при делах.
Не топор, а перо жар-птицы
трепыхает в моих руках.
Ярок высверк его и росчерк,
будто молния у плеча...

Новый дом — это жизнь!
А проще —
это кров родной и очаг.
Это яблонька по-над пряслон,
луг недалний, в ромашках весь.
Ну а главное — это ясность,
ясность полная: жить вот здесь!
Жить вот здесь... Поливать капусту,
пробираясь с ведром меж гряд,
спать на сене...
И пусть, и пусть нам
хуже будет, как говорят!

1969

НА ТЕТЕРЕВИНОМ ТОКУ

— Тетерева-то?.. Да какие ноне тетерева...— махнул старик рукой.— Поди-ка, их теперь во всем районе не сыщешь, хоть район-то — вон какой!

Бывало, выйдешь — вся округа стонет. Теперь — хотя бы гуркнуло... Шабаш! — И все же, вняв мольбам моим, Афоня привел меня назавтра в свой шалаш.

— Ну вот,— сказал негромко,— мы и дома... Давай сюда...— И, лапником шурша, я влез в шалаш, уселся поудобней и взвел курки. И замер, не дыша.

А меж лопаток — дрожь от нетерпенья. Казалось мне: вот-вот возле куста он сядет, первый, и распустит перья красивейшего, лирою, хвоста.

И, надломив в бойцовском кличе брови, на все леса и доли возвестит, что жаждет он любви и крови, крови соперника, который прилетит!

И он услышит этот клич, соперник, и спустится, отвагой клокоча, к тому кусту... И только перья, перья по ветру полетят от трепача!

Я наблюдал подобные дуэли
не раз, смиряя дрожь дробовика.
Жду: нету... Жду: ни звука.
Неужели
ты правду говорил мне, старикан?!
Но нет!

Я вздрогнул даже — так он близко
и так он громко — щеголь-то какой! —
передо мною прямо приземлился,
ну так, что хоть бери его рукой!

Поогляделся, встряхивая сизый
воротничок, и — грудью на рассвет —
как будто бы перчатку, бросил вызов:
«Чуффы!» — и замер, слушая ответ.

Но не было ответа. Только ветер
шушукал шумно в крыше шалаша...
«А вдруг... — я вздрогнул, —
из живых на свете
вот этот франт — последняя душа!!!

Последний «мамонт» северного края!..»
Не мне ль вчера Афоня говорил:
— Грачей весною с поля подбирали:
какой-то химикат их уморил.

А франт, как первый парень на деревне,
меж тем, чертя крылом, как петухи,
своей воображаемой царевне
читал проникновенные «стихи».

И кругом-кругом, подобравши полы,
и боком-боком, лиру распутив,
и — молодецки — шпорою о шпору
под страстный незатейливый мотив.

То замирал и, шею выгнув грозно,
чуфыкал вновь...
Я глянул на часы
и... выстрелил: — Лети, пока не поздно!
А я поем с Афоней колбасы.

ОТЦУ

Может быть, зимой, а может, летом
оборвался твой солдатский путь.
Ничего не знаю. Даже это:
в день какой тебя мне помянуть?
В сторону какую поклониться
по-сыновьи праху твоему?..

Черный ворон, вековуха-птица,
ты не в том ли почернел дыму,
что ему, солдату, выел очи?..

И не ты ли, сидя на суку,
перед самым боем напроочил
долюшку такую мужику?
Долюшку — растаять с дымом взрыва
в облаках?..

Несутся облака.
Ворон дремлет. Ворон нем, как рыба.
Только ель скрипит под ним слегка.,

1969

НЕ ПРИШЕДШИМ С ВОЙНЫ

...И только председатель молвил слово,
что надо б в память тех, кто отдал жизнь
в войну, кого ни матери, ни вдовы,
состарившись, домой не дождались,—
какой-нибудь хоть памятник поставить
(«Пришла пора: не так уж мы бедны!»),
как зашумели все. И даже встали,
в ладоши дружно хлопая:

— Должны!

— Чего там говорить...—

И Пелагея

пробилась тоже к сцене, к кумачу

и подала, что было, не жалея:

— Возьми-ка...— прямо в руки Кузьмичу.

Все знали, что живет она не очень...

Но, чтоб вернуть назад ей пятаки —

нет, не посмели: у кого — сыночек,

а у Палаши — четверо... сынки.

Да и хозяин... Всю, как есть, породу

война перевела. Никто с тех пор

не приносил ей в избу в ведрах воду,

никто, кроме самой, не брал топор.

...Был памятник поставлен в самом центре
в кругу берез старинных, над рекой,
и, так уж получилось, рядом с церковью,
по-нынешнему, рядом с мастерской.

И вышел митинг в день его открытья.
В погожий, но не жаркий этот день,
суровы и тихи, пришли на митинг
все жители окрестных деревень.

Стояли, вспоминая и жалея
кровиночек, забавушек, родных...

Чуть припоздав, пришла и Пелагея
с букетиком цветочков полевых.
Пробилась ближе, на колени стала,
одна. И всем почудилось в тиши,
что с черных куполов не галок стая
взвилась в тот миг, а вопль ее души.
Рассыпала неяркие цветочки
у памятника, вывела, скорбя:
— Ну что же вы, ну что же вы, сыночки,
не сберегли, все четверо, себя?!
Уж я ли вам защиты не молила,
уж я ли вас, горюха, не ждала? —
Как будто бы не памятник — могила
сыновняя у ног ее была.—
Ой, да какую мама ваша стала,
сыночки, вы бы глянули сейчас.
Без вас ей сенокосы вышло ставить
и землю обихаживать без вас.
От лебеды спасать да от полыни,
а в вёсну — плугом, горькую, пластать...
Ни дна те, ни покрышки, змей-горыныч,
сыночков погубивший супостат!

А галки все метались за оградой,
и все у рта платок держала мать...
И медлил председатель, стоя рядом,
речь начинать.

РАСПЛАТА

(Пленные под Сталинградом)

Всё наземь, в снег:

и ружья и знамена.
Лишь только руки — к небу. От земли.
Я видел — за колонною колонна,—
я видел, как тогда они брели.
Брели, окоченев и обессилев,
пространство получив в конце концов.
Пурга,

как возмущенный дух России,
плевала им неистово в лицо!
Рвала на них платки и одеяла,
гнала, свистя, с сугроба на сугроб,
чтоб им, спесивым, «матка, яйки, сало!»
и «матка, млеко!»

помнились по гроб!
Они брели, не в силах даже губы
сомкнуть, чтобы взмолиться: «О, майн гот!»
А из снегов безмолвно, словно трубы
спаленных хат,

глядел на них народ...
О, как дрожало им, о, как дрожало
от тех недвижных взглядов: не укор,
и не прощенье,—

поздно! —

и не жалость
они читали в них, а приговор
всему, что было брошено на карту,
доверено единственно ружью...
Ну что ж! Забыв о доле Бонапарта,
они теперь извели с в о ю!

1969

ПАРАД ПОБЕДЫ

Такое Площадь знала лишь однажды,
однажды только видела Земля:
солдаты волокли знамена вражьи,
чтоб бросить их к подножию Кремля.

Они, свисая, пыль мели с брусчатки.
А воины, в сиянии погон,
все били, били в черные их складки
надраенным кирзовым сапогом.

Молчала Площадь. Только барабаны
гремели. И еще — шаги, шаги...
Вот что такое «русские Иваны» —
взгляните и запомните, враги!

Вы в них стреляли?

Да, вы в них стреляли!

И жгли в печах?

Да, вы их жгли в печах!

Да только зря: они не умирали,
лишь молний прибавлялось в их очах!

«На-а-пра-во!» — и с размаху о брусчатку
и свастику, и хищного орла.
Вот так! России бросили перчатку —
Россия ту перчатку подняла!

И видели, кто был в тот день в столице,
на Площади: она, лицом строга,
подняв венец

и меч зажав в деснице,
прошла по стягам брошенным врага!

1970

ПРО БАБУ ГРУНЮ

Поопали у бабы Груни
плечи: что говорить — года...
Под сельповскою кофтой груди
неподобраны, как всегда.

Груня к этакой канители
не привыкла: всю жизнь была,
почитай, при мужицком деле,
да и бабы знала дела.

Одного за другим трех мальчиков
родилá, удивив родню.
Луны белые выворачивать
приходилось семь раз на дню.

И сказать, чтобы ей в обузу
это было — нельзя сказать:
сунет

теплую
карапузу —
и за ложку, и щи хлебать.
Аккуратисто, со сноровкой,
поводя лишь одним плечом...

Не хотела перед свекровкой
без нужды сплеховать ни з чем.
Отдавала ей после
сына,

приласкав его на ходу,
и бежала опять, косила
с мужиками в одном ряду.

Ах как грянут, бывало, лугом
косы — сорок у ног валков!
Бабам в те поры тоже туго
приходилось — за недосугом,—
да не так, как без мужиков.

А вот их-то как,
бритых, стриженных,
обревели у пристаней...
Боже, как они только выжили,
бабы, выждали столько дней!
Даже кони, не сдюжив, пали,
а уж как их берег колхоз!..

Груне это придет на память —
и не может она без слез.
И не может... И все же волю
не дает им. Твердит одно:
долю женскую, вдовью долю
не оплачешь, мол, все равно.

И с улыбкой:
«А помнишь, Глаша,—
плат поправит на голове,—
как с березовых-то олашек
чуть не лопнули дуры две?
Как быка-то потом к упряжке
приучали? Пяти годов
бык-от был... Как ему, бедняжке,
гирю вешали двух пудов?»

С вышины ее, на веревках,
еле кинули за рога...
Та чугунная двухпудовка
и смирила его, врага».

Так, с улыбкой, еще о многом
вспомнит Груня. Но тут как раз
перед домом, свернув с дороги,
председательский станет «газ».

Груня — грудью на подоконник
и, как милому за реку:
— Федор Павлович, далеко ли?
Да зайди хоть, испей кваску!
Побеседуй хоть...

И покуда
Федор, строг, да не бестолков,—
цедит квас через край из блюда,
Груня выпалит тыщу слов:
— Не вози-ка ты больше, парень,
этой химии-то сюда.
Три коровушки, слышь-ко, пали,
склад-то, слышь-ко, возле пруда,
в развалюхе, в овине старом:
дождь линёт — и ручьи-то в пруд...
Вон навоз на дворе — задаром
отдала бы, так не берут!

Ты б приструнил их, грамотеев,
остерег бы их от беды.
Им бы новые все затеи,
ну а старые чем худы?!

Федор вытрет ладонью губы:
что ж, спасибо, мол, за совет...
И ни взглядом, ни словом грубым
не обидит старуху, нет.

Знает, помнит:
полоски малой
не найдется вокруг села,
где б она ногой не ступала,
где бы пота не пролила.

Он сбежит с крыльца по ступенькам,
но расслышит все ж на бегу:
— Федор, может, помочь маленько
надо? Я ведь еще могу!

* * *

Той киргизской дружеской вечеркой
бог меня, наверно, наградил.
Кто-то мне рассказывал о чем-то,
кто-то сок гранатовый цедил,
кто-то сыпал тосты неустанно...
А хозяин сам, рванув струну,
вдруг запел протяжно и гортанно
песню, что певали в старину.
Как она мне душу взволновала,
песня! И, хотя не знал я слов,
слышал эхо горного обвала,
гвалт кочевья, ржанье табунов.
Видел степь и неба полог синий,
слышал гром копыт и посвист стрел...
И уже, как водится в России,
подтянуть хозяину хотел.
Но сказала мне жена поэта:
— Вы, Сережа, гость у нас в краю.
Спойте нам старинную, как эта,
русскую, народную, свою.
— Русскую? — и я уперся взглядом
в потолок.— Старинную?.. Сейчас...—
А в башке совсем не то, что надо,
а в башке всесветный ералаш.
Вспомнил я родную деревеньку...
Вспомнил — черт мне, видно, в том
помог! —
«Черного кота» и «Летку-енку»,
а свою, старинную, не смог...

То есть голоса-то вспомнил вроде,
а слова... Хотя б один куплет!
Всплыло: «Во саду ли, в огороде...»
Ну, а кто и с кем — не помню, нет.
Чем они меня околдовали,
нынешние, с грушами у рта?
А ведь если вспомнить, как певали
в избах! Как певали! Красота!
Помню, бабы, сидя у кудели,
пели... Или девки за селом!
Или мужики, когда сидели,
захмелев, за праздничным столом!
Пели так, что аж избу качало!
Просто, без особенных затей.
Та-та-та-а... Ну, как ее начало,
песни той? Не помню, хоть убей!
Говорю: — Простите, братцы, голос...—
И краснею: будто бы с меня
сняли все и выставили голым
на базаре среди бела дня.

1970

ЗИМНЯЯ ДОРОГА

О, эта зимняя дорога
и этот белый бег саней!

Отец кричит: «Держись, Серега!
Гляди, Серега, веселей!
Да нос-то, нос-то спрячь в овчину!
Мороз — он живо оторвет...»

А мне обидно, что мужчину
отец во мне не признает.
И я терплю, хоть ветер выжал
слезу,— так взрослым надлежит.
И я гляжу вперед
и вижу,
как снег горит, как мерин рыжий,
весь рыжий, в белое бежит.

Как дремлют стайкой на березе
чернее угля поляши...¹

И скрип полозьев, скрип полозьев
мне словно песня для души.
О чем она?
О том, что нету
конца дорожке столбовой...
И, вняв отцовскому совету,
в тулуп я прячусь с головой.

¹ Поляши — тетерева.

И там, зажмурившись в восторге,
я обнаруживаю вдруг,
что стали валенки просторней,
и рукава, и весь тулуп.
Отец — ему мороз не штука
и не задача дальний путь —
кричит на мерина: «А ну-ка
прибавь, родименький, чуть-чуть!
Совсем Сережку заморозил».

И меринок, стараться рад,
бежит...
А сзади скрип полозьев,
как крик встревоженных гусят.
И я их слушаю, мальчонка,—
мне только семь неполных лет,—
и тихо думаю о чем-то,
чему пока названья нет.
И согреваюсь понемногу,
к отцу придвинувшись тесней...

О, эта зимняя дорога
и этот белый бег саней...

1970

КИСТЬ РЯБИНЫ

(Осенние этюды)

...И все же лжешь ты, в паспорте строка:
я осенью родился, а не летом.
И матери свидетельство об этом
важней мне «метрик», взятых с потолка.

В тот день, как в деревнях заведено,
ей бабушка нагрела спешно баньку...
«...И вот лежим с тобой и слышим батьку,
рассказывала мать мне.— Он в окно
сначала постучал — видать, робел.
Потом ввалился... прямо из овина!
В руках — рябина, в волосах — мякина...
Вошел и в первую очередь — к тебе...
Доволен, вижу, радуется: сын!
Взглянув, как ты посапываешь сладко,
сказал шутливо: «Ох, Сережка с маткой!
Ну, что бы подождать! Один овин
домолотить осталось...»
Те слова,
знать, потому и врезались мне в память,
что я,
 с тобою в баньке лежа, парень,
о том же сокрушалась и сама.
Закружат батьку, думала, дела!
А я могла цепом-то и любила!»

И улыбалась, вспомнив: «А рябина
в тот день, когда тебя я родила,
была такой краснущей — не сказать!
Она росла у самого порога...
Ну, батько, чтоб порадовать немного
меня,
и вздумал кисточку сорвать.

Слаба теперь уж памятью-то я,
а это, вишь ты, помню... Ведь не часто
вниманием сердечным да участием
нас баловали в те поры мужья».

* * *

Осенний я. Чем дальше жизнь идет,
тем все любей мне это время года,
когда дожди тихи, когда природа,
грустя о прошлом, будущим живет.
Все в будущем — дано одной лишь ей
надеяться, когда уже все в прошлом.
И вот она, соря в полях порошей,
любуется озимых яркой прошвой
и поднимает в небо журавлей.
«Кру, кру!» — над лесом, голым и немым,
над золотыми скирдами соломы
и надо мной, мальцом белоголовым,
рукой средь поля машущим вслед им.
Мне и сейчас он помнится: «кру, кру!» —
крик журавлей, на юг летящих клином.
И дым голубоватый над овином,
и дух ржаной наполовину с дымом,
и стук цепов согласных поутру.
И озимь, как залог, что не навек
полям — снега, а журавлям — чужбина,
что вновь у бани расцветет рябина...
Лишь старше на год станет человек.

* * *

Что помню я еще о той поре?
Отаву... Лен, разостланный на лежку...
Капусту... И конечно же картошку,
картошку, испеченную в костре.
О, как мы пировали, ребятня,

и как смешно, я помню, «танцевали»,
когда, от жара морщась, доставали
обугленные клубни из огня.
В нас оживал, должно быть, предков дух:
огонь и пища — что еще нам нужно!
И ликовали мы, и хворост дружно
в костер бросали, чтоб он не потух.

А взрослые — земля была щедра —
нас издали строжили понарошку
и вместе с нами дули на картошку,
на корточки присев возле костра.
И вновь, склонясь, с корзинами брели
меж взрыхленными плугом боровками
и красными от холода руками
картошку выбирали из земли.
Потом мешки вздымали не спеша,
телегу до отказа нагружая...
И вечным благовестом урожая
крестьянская их полнилась душа.

* * *

Теперь те дни безмерно далеки.
Но тянет, тянет осенью в деревню,
когда в ней источится дух варенья
и уберутся все отпускники.
Когда там бродят зябко по стерне
одни стада. А стежки поразмыло.
Когда природа кажется унылой,
печальной и безрадостной. А мне...
А мне она, когда идут дожди
и омота полны листвой опавшей, —
мне кажется тогда она уставшей,
как мать с новорожденным у груди,
и просветленной...
Безмятежен взор
осенней, долг исполнившей природы.
Просторны рощи и прозрачны воды,
и тих земли и неба разговор.
Спят где-то голосистые грома,
скатившись гулко с плеч высоких лета...
Лишь слушают тоскливый посвист ветра
под крышами глухие закрома.

* * *

А в избах, у порогов, сапоги
резиновые — нынешняя мода.
А в кадках — леса дар и огорода,
а в печках — с мясом ши

и пироги.

Спешить куда? Начнется день едва,
а глядь — уже и вечер на крылечке.
И хлещет дождь в окошко. И в припечке
потрескивают весело дрова.

На улице — глаз выколи — темно.
Но вон, светя фонариком неярким,
с работы возвращаются доярки,
ребята пробираются в кино.

А старики, спровадивши внучат, —
им не тягаться с ними — клуб не близок, —
позевывая, смотрят телевизор.

«Скорей бы подморозило», — ворчат.

Всю ночь капель: буль, буль...

А по утрам

опять дымы стекают с крыш покатых.

И, красные, на белых комьях ваты
рябины кисти рдеют между рам.

* * *

Когда огонь в печурке догорит,
а дождь зарядит будто бы навечно,
люблю я выйти в шубе на крылечко,
где дядька вечно что-то мастерит.
Поправив молотком в рубанке сталь,
то брус стругает дядька мой, то доску...

А я курю в сторонке папироску,
туманную оглядываю даль.

Какой отсюда на деревню вид!

Вон лес, куда я бегал за грибами.

Вон через речку мост. А вон и баня —
та самая... Она еще стоит.

Мы и теперь в ней моемся... А вон
пред банею вся в ягодах рябина.

И только мамы нет... И нет овина.

Подгнивший, на дрова распилен он.

Накрапывает дождь. И все сильнее
вспоминанья мне сжимают горло.

Нет, время, нет... Еще не все ты стерло,
не все ты стерло в памяти моей!

И начинаю я по одному
припоминать всех жителей посада.
Чей с краю дом стоял?
И чей с ним рядом?
Кто в третьем, опущенном, жил дому?
И в пятом, там, где листьями сорят
березоньки редеющие — осень,
и в двадцать пятом, возле старых сосен,
что тучей над деревнею парят?
И вслух считаю:

— Тридцать, тридцать два...—

А дядька уточняет:

— Было сорок.—

Я ежусь: холодок проник за ворот,
и зябко прячу руки в рукава.

1971

ОНА МНЕ МАТЕРЬЮ БЫЛА

Критик мой, ты меня не брани,
что я кланяюсь снова с грустью
деревенскому захолустью,—
критик, ты меня не брани.

Я не хуже, чем ты, литспец,
знаю — не по твоим уставам,—
что приходит деревне старой,
как ты выразился, конец.

Ах, далось же тебе шпынять
за грехи меня!.. Это просто.
Ты б попробовал, стрелы остря,
прежде чувства мои понять.

Да тебе ли понять, тебе ль,
что деревня была мне с мала
та же добрая мама...
Мама,
очень старенькая теперь.

Что она мне, как мать, дала
душу, слово, характер, силу.
Научила любить Россию
и добро отличать от зла.

И хорош бы я был, хорош,
если б вдруг, не признавши сына,

мама: «Чей ты?» — меня спросила
и: «Откуда куда идешь?»

...Вот стою перед ней, седой,
нежно глажу ее морщины,
не ребенок уже — мужчина,
кстати, тоже немолодой.

И умом понимаю: да,
отжила... А в полях моторы:
«Отжила», — мне, как эхо, вторят,
«Отжила», — гудят провода.

Но душой — хоть меня убей,
хоть живым зарой вместе с нею! —
я жалею маму, жалею,
низко кланяюсь в ноги ей.

Вновь и вновь обращаю взор
к ней, хочу — продолжатель рода —
знать, как прадеды жили: Федор
(Федор, вроде...) и Алафер.

Благосклонна ль была судьба
к ним? Чем были они известны?
И какие певали песни?
И удачливы ль на хлеба
были?..

Очень хочу я знать,
глубоки ль и где мои корни?
А она уже и не помнит
ничего о прадедах, мать...

Да и песни — стара, стара! —
мама тоже перезабыла,
А ведь помнила.
И любила
петь их в долгие вечера.

Мне ль корить ее? Не корю.
Нет, другой одержим я целью.
«Ты была моей колыбелью, —
тихо старенькой говорю. —

Я сбегал с твоего крыльца,
а в руке — горбушка ржаная...
И спасибо тебе, родная,
что не холила ты мальчика.

Если вспомнить, и это мне
было очень кстати порою...
И особенно — я не скрою —
на великой на той войне».

1971

ОТ КРЫЛЕЧКА

Да, я стартовал от крылечка!
И этим, мой недруг, горжусь!
Крылечко,
да русская печка,
да сани, да в бляшках уздечка —
сама изначальная Русь.

Расправив могутные плечи
и смутных желаний полна,
на небо и землю
с крылечек
веками глядела она.
Поскольку была избяною
и сплошь земляною была,
поскольку, добавлю, иною
пока она быть не могла.

Замученной ей, но живучей,
как сын,
заглянув в старину,
ни лапти ее, ни онучи
вовек не поставлю в вину!
Напротив,
я буду все боле
дивиться, — изыдь, сатана! —
как в этой жестокой доле
душой не зачахла она.

Как в ней совместились счастливо —
и в этом ее высота! —
незлѳбивость

и совестьливость,
достоинство и прямота!
Земля, над которою

вместе
с конягой пластался мужик,
его не учила ни лести
(пусть лучше отсохнет язык!),
ни лжи, ни торгашеству...
Не был
он мастер купить и продать.
Умел он — свидетелем небо —
насытиться квасом да хлебом
и нищему корку подать.

Забитого,
долготерпеньем
корить ты его погоди.
Запомни, что точка кипенья
высокая в русской груди!
И право, тебе забывать бы
не след, говоря о былом,
кто рушил с Емелькой усадьбы,
со Стенькою шел напролом.
Кто, чашу терпения выпив,
по Зимнему вдарил плечом...
И гнев тот

октябрьский
Великим
историей был наречен!
И рухнуло рабство!
И с треском
кругом послетали замки...

И к гневу тому, как известно,
причастны в лаптях мужики!
Громили они супостата,
рубили, оставив дела...

Выходит,
крылечко для старта —
площадка не так уж мала...

РОССИЯ

I

Россия — росы и сиянье.
И значит — утро,
значит — свет.
И расстоянья, расстоянья...
Без них России просто нет.

Эх, птица-тройка!
Не с того ли
нам век тревожили сердца
и скрип полозьев в зимнем поле,
и чудный звон колокольца?!

Не эта ль, злая,
с дней творенья
любовь к стремительной езде,
порвав земное тяготенье,
нас,
первых,
бросила к звезде,
к тому мерцающему свету?!
И озарилась на века
завороженная планета
лихой улыбкой «ямщика»!

Любимый цвет России — алый.
 А непокой — ее судьба.
 Все знают: с краю не бывала
 веки русская изба!

И нам недаром, нам недаром
 на все четыре стороны
 видны и отблески пожаров,
 и гулы дальние слышны.

И дива нет, что заседали,
 ломились в нашу дверь враги.
 И мы не скроем, что едали
 не только с медом пироги...
 Не сладко.
 Но не бесполезно!

У нас, отведавших беды,
 в крови прибавилось железа
 и поубавилось воды,
 кипенье крови жарче стало...

Но наши недруги должны
 знать,
 что она осталась алой,
 как шелк на знамени страны!

Твои березы над водою
 люблю...
 Но мне милей стократ
 твое, Россия, молодое
 лицо и твой открытый взгляд.

Ни злобы, ни высокомерья,
 ни лжи, ни хитрости в нем нет.
 И взгляды дружбы и доверья
 обращены к тебе в ответ.

Так смотрят только брат на брата,
коль брат за брата
горд и рад!
Но знают все: для супостата
есть у тебя особый взгляд.

Белки кровавы, бровь подковой,
над переносицею — медь...
Впервой на поле Куликовом
ты так сумела поглядеть!

И дрогнула орда, роняя
секиры, копья, топоры...
А у тебя между бровями
осталась складка с той поры.
Пускай она тебя не красит...
Но и в недавние года,
узнав, сколь правый гнев ужасен,
с твоих просторов восвоеси
бежала новая орда.

4

Нет, для поборников насилья
уроки времени не впрок.
Им и теперь еще Россия —
большой и лакомый пирог.

Прогуливаясь в отдаленье,
они на тот пирог глядят
и с откровенным вождельем
гадают: с чем его едят?

И вспоминают напоследок:
ломоть,
что с краешку лежит,
успел куснуть их давний предок
и, значит, им принадлежит.

Смешны нам эти притязанья...
Пусть знает всяк, решаясь в путь:
пирог — Россия,
но с глазами,
как говорят у нас в Рязани...
Попробуй лапу протянуть!

В глазах России много сини
озерной
и голубизны
небесной...
В мире нет красивей
и нет бессоннее страны.

Она, великая, ни разу,
воз, ей назначенный, везя,
не закрывала оба глаза
одновременно: ей нельзя!

Смежив одно устало око,
когда над ним луна взойдет,
она немедленно
широко
другое к солнцу распахнет.

И от границы до границы,
через Сибирь, за тот хребет,
покатят вал звенящий птицы
за солнцем вслед, за солнцем вслед....

1971

НЕ ПЛЯШУТ..

«В нашем клубе теперь культурно.

Ребята теперь не пляшут...»

*Из речи заведущей
сельским клубом Маши Р.*

«Не пляшут! Вышла эта мода.
Произошел большой скачок
в культурном уровне народа,
о чем за два последних года
я вам и делаю отчет.

Не пляшут!
Танцы, только танцы!
Ребята, ежели взглянуть
со стороны,
как иностранцы,—
не уступают им ничуть!

А то, бывало, нету сладу
с шальными...
Выйдут: бух да бух!
А нынче танцы до упаду,
часа по три-четыре кряду,
и без особого догляду —
свет лишь бы только не потух.
Стеснялись, помнится, сначала,
«трясучкой» даже звали твист...
Но я на это не серчала,
сама их лично обучала,
пластинки ставил гармонист.

Теперь мы с ним танцуем оба.
Теперь в углах уже никто
не жметя: кончилась учеба!
Жаль только — нету гардероба:
танцуем в шубах и в пальто».

Ах, Маша... (Вы простите, Маша,
что я успел на карандаш
взять ваш отчет.)
Итак: не пляшут...
Мне показался, Маша, страшен
и очень горек опыт ваш.

Чему вы радуетесь, право?..
Ужели не известно вам,
что пляска русская,
как лава
громокипящая,
со славой
прошла по всем материкам?!

Да, с ярим топаньем и свистом!
Да, с частой дробью!
— Эх, ходи! —
И с неизменно голосистой,
завороженной гармонистом
трехрядкой русской на груди!

Под переборы той трехрядки
кто не бросался вихрем в круг?
Чьи не гвоздили об пол пятки?
Кого веселые бесятки
не доводили до присядки?
Откуда прыть возьмется вдруг!..

— Эх, туфли мои,
носки выстрочены!
Не хотела выходить —
сами выскочили.

Не руки — крылья распластались!
А из-под ног — огонь, огонь!
Да можно ль русских нас
представить
без русской пляски под гармонь?!

В ней наш характер: взрыв и буря!
Коль подкатило — расступись!
Не усидеть нам, глазки шуря,
коль забаянят вдруг,
ни в жисть!

Но нам не в том одном услада,
чтоб половиц не пожалеть.
Душе великая отрада,
притопнув вдруг, — послушай, лада! —
еще и песней прозвенеть:

— Милая, красивая,
свеча неугасимая,
горела, да растаяла,
любила, да оставила.

А было раз: кипя отвагой, —
те дни не так уж далеки, —
распив, что было в наших флягах,
мы в площадь —
в площадь у рейхстага! —
вбивали лихо каблуки!

Вбивали, сбросив с чубов каски,
напротив черных тех дверей...
И помнят недруги —
не сказки! —
гром той победной русской пляски
ясней, чем грохот батарей!

И будут помнить — так-то, Маша...
Сомнений нет на этот счет.
А вы: «У нас теперь не пляшут...
Произошел большой скачок...»

Не верю вашему уставу!
Как говорили в старину:
«А я и в гроб ложиться стану,
а лаптем все же болтану!»

1971

ВОРОНЫ

Шел третий год после войны.
В июле, по обыкновенью,
ища желанной тишины,
приехал я в свою деревню.

Иду однажды налегке
по-за околицей и вижу,
как,

по-мужичьему бесстыже
ругаясь, с палкою в руке
гоняет птичница ворон:
— На вас бы, проклятые, пушку! —

И вдруг ко мне:

— Опять урон!

Опять угробили несущку!

Шугаю вот, а толк каков?!

Ну, если б ястребы, так ладно...

Не стало, видишь, мужиков —
вот им и сделалось повадно.

— Как так? — спросил я, удивлен,
нет, даже вскрикнул, не поверив. —
Чтоб куры гибли от ворон?!
От этих гадких? Этих серых?!

— Да, милый, я тебе не вру.
Сама дивуюсь: то ли куры,
как говорят, и вправду дуры,
то ль, как у многих на миру,
у них трусливые натуры?

Едва ворона два крыла
распустит, глядь — уже иная
со страху будто умерла,
и не шелѡхнется, дрянная!
Присядет этак вот, жалка,
и ждет, и ждет свою судьбину...

А эта серая карга
ей преспокойненько на спину
и клювом — тук! — по голове.
Тут ей, простушке, и кончина.
Идешь — валяется в траве...
Ты попугал бы их, мужчина!
Ведь на мое, на бабье «кыш!»,
на трепыханье юбки в раже
они взирают нагло с крыш,
не шевельнув крылами даже.

Я снял двустволку со стены
и, яростный, вогнал патроны
в ее тяжелые стволы:
«Ужо вам, серые вороны!»
К курятнику по борозде
подкравшись, встал возле куста я
и выглянул: «Так вот ты где
пируешь снова, вражья стая!»

Сверкнул огонь из двух стволов —
и грянул гром! Свершилась кара!
И начался переполох
среди их серого базара.
И понеслось на крыльях: «Кар-р!» —
Через реку, через болото...

Швырнул я — точен был удар —
одну из серых за амбар
и в тишине промолвил:

— То-то...

УТРОМ

Летом девичий сон недолог.

Летом Зинка

едва в кровать

заберется, откинув полог,

а ее уже кличет мать:

— Дочка, сбегай-ка по водичку!

— Сча-ас...— А губы у Зинки спят,
и глаза еще спят —

хоть спичку

ставь! — закрыться все норовят.

А маманя бранится:

— Эка

ты засоня! — на Зинку зла.

«Пожалела бы человека,

ведь сама молодой была»,—

Зинка думает, просыпаясь...

И на старенький половик

ставит ноги и, как слепая,

по шатучим мосткам сарая

в избу топает напрямик.

Умывается по-за печкой...

И выскакивает, бодра,

с коромыслищем на крылечко —

два на левой руке ведра.

Раз,

два,

три — по ступенькам.

Донце
о другое донце звенит.
Раз, два, три...
А ступеньки солнце,
солнце красное золотит.

Вдруг (как будто поймали Зинку!)
встала, смотрит: вот тут, рядком —
если б только рядком! —

в обнимку

просидела она с дружкой
до зари!.. Вот на этой самой,
верхней, вымытой добела...

Ох, услышала б только мама!
Ладно, крепко она спала.

«Дождик будет...» — уверил Зинку
парень и... позвал на крыльцо.
Зинка прятала все в косынку
раскрасневшееся лицо,
закрывала ему ладонью
губы: «Видишь, уже рассвет!»

А про дождичек и не помнит:
был он, дождичек, или нет...
Да и ночь-то была ли тоже?!
Вдруг да это всего лишь сон!

За калитку ступила — боже!
У колодца машина... Он!
Наклонясь, в радиатор воду
цедит струйкою из ведра...
А в машине полно народу:
едут сено сгребать с утра.

Зинка как ни в чем не бывало
шасть к колодцу! А он ей вслед:
— Дождик будет опять, пожалуй...
— Да откуда! Ни тучки нет..
— Будет, бабы... Спросите Зину!
(«Вот бессовестный, вот нахал!»)

А парнишка уже в кабину
сел. И кепкою помахал...

ТРИ СОСНЫ

Ах, как они стояли, боже мой,
те три сосны!.. Бывало, что под вечер
спешишь с корзиной с озера домой
и ждешь, все ждешь,

счастливый, с ними встречи.

В своем краю и на своей земле
они стояли посредине луга,
поотстранясь вальяжно друг от друга,
как три богатыря навеселе.

Стояли и шумели... И чубы
сплетали. А в чубах сновали птахи.

И крепко пахли смолкой их рубахи,
и бронзою поблескивали лбы.

Никто в деревне не считал им лет:
казалось всем — стоят они тут вечно.

...Спешу опять к знакомому крылечку.

Вот луг. Вот та тропа...

А сосен нет.

Не узнаю знакомые места.

Гляжу на три широких пня средь луга
и чуть не плачу: горько...

Словно друга

в живых я, возвратившись, не застал.

Не слышно шума сосен с высоты:

распилены и свезены к сараю...

«Что с вами, люди? — голову ломаю.—

Такой не пощадили красоты!»

1971

ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС...

Чем дальше в лес иду —
тем все трудней...
Вот ельник — не пробраться до середины:
одна к одной — не ели, а жердины,
сухие от вершин и до корней.

Земля вокруг них по-лунному мертва.
А вместо лап — рога... И мох на каждом.
И тленом сладко-приторно и бражно
попахивают грустно деревья.

Вздыхнув, бреду в обход. Но на пути
ель
рыбьим фантастическим скелетом
(наверное, упала прошлым летом):
ее решаю тоже обойти.

Иду, ворчу:
«Ну, где ж вы тут, грибки?
Вы, рыжики? Вы, грузди и волнушки?»
Но на пути опять дерев верхушки
да груды сучьев — не пробьешь из пушки,—
да острые высокие пеньки.
Моя корзина все еще пуста.
А лоб мой мокр... И я ругаюсь: грешен!
И каюсь в сотый раз:
«Занес же леший
меня в такие гиблые места!»

Ногою ухнув в яму возле пня,
вновь падаю, хватаясь за ольшину,
а та, сломившись сахарно,
вершину
беспамятно роняет на меня.

Я вздрагиваю: кажется мне вдруг,
что я один на нежилой планете...
И слышу чье-то пенье — это ветер
шумит в ветвях... Печален этот звук.

Душа внимает чудным голосам,
торжественно рождающимся в небе...
Я не дышу. Я слушаю молебен
о ниспосланье радости лесам.

1971

КАРТОШКА И ЦВЕТЫ

И. А. Ожерелкову

Весной —
дела житейские просты —
сажали все картошку в огороде.
А он сажал картошку и цветы,
хотя была картошка только в моде.

Весь день гремел протезным каблуком
меж гряд — с войны вернулся он калекой...
И все его считали чудаком,
хотя он был нормальным человеком.

Но шел иной за тридцать три версты,
чтоб чудом чудака
полюбоваться.
А он дарил, дарил, дарил цветы,
вновь чудаком рискуя показаться.

И дрогнули, как ни были глухи,
сердца людей:
все чаще под окошком,
где до сих пор жирели лопухи,
цветы вставали. Рядышком с картошкой!

1971

ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД

К погожему рассвету приурочив
событие,
 в предчувствии утрат,
осенние березовые рощи
несметным войском вышли на парад.
И радостна была она для взгляда
и почему-то трогала до слез —
торжественность последнего парада
осенних облетающих берез.

Ворвется скоро зимник в их пределы —
и все... И лето канет за чертой.
Но, прежде чем на землю ляжет белый
снег,—
 долго будет падать золотой.
И, ветками озябшими кивая,
березы будут елям напевать
одно и то ж: «До следующего мая!
Счастливо только б
перезимовать...»

1972

К ОЗЕРУ

Не еду, не еду, не еду
на юг!
«До свиданья!» — кричу
влюбленному в Ялту соседу
и на

Ярославский лечу.

Ни паспорта и ни путевки
со мною, но я не грущу:
сперва погостю у тетки,
у дядьки потом погощу.
Хочу разделить их беседу,
их песни послушать хочу...

Не еду на юг я, не еду —
счастливый, на север лечу!
Плевать мне на прелести юга,
соседушка! Мне не нужны
ни лежбища праздного люда,
ни плеск черноморской волны,
ни легкие, в общем, победы
над кем-то, ни треп «с бородой»...

Я к озеру, к озеру еду
с глубокой и чистой водой!
Оно, голубея, глядится
спокойно весь день в небеса.
И, словно густые ресницы,
над ним нависают леса.

Рыбачит на нем лишь гагара:
нырнет — полчаса не видать.
Да выводков кряковых пара
жирует — им там благодать;
да чайки беспечные вьются
иль плавают стаей одной,
белея, как сахар на блюде,
на блюде с зеленой каймой.

А сколько в том озере рыбы!
Закинешь — на дно поплавок.
Спасибо, природа, спасибо
тебе за такой уголок!
За то, что, считая потери,
его тыохранишь до сих пор...

Я выеду в полдень на берег
с добычей — и вспыхнет костер!
Забьют плавниками упруго
в ведерке моем окуньки.
И запросто с ближнего луга
нагрянут к ухе земляки.
Я крикну, гостей привечая,
с улыбкою через плечо:
«За вкусно, друзья, не ручаюсь,
ручаюсь лишь за горячо!»

«И то прибежали недаром!» —
ответят, присев у ведра,
и станут хвалить «уховара»:
на это они мастера!
И тысячу всяких историй
расскажут («Записывай, черт!»).
Ах, озеро, мой санаторий,
мой лучший из лучших курорт!

Спасибо тебе! Я не скрою
секрет от тебя небольшой:
над светлой твоею водою
и сам я светлею душой!

ГЛУХАРЬ

Черный веер хвоста,
дуг надбровных рубины,
по бокам, словно латы,
два сильных крыла,
когти как у орла,
клюв почти ястребиный —
мать-природа ему все с избытком дала.

Научила негромкой, но трепетной речи...
И могучим
сумел он себя осознать!
И остался навеки на диво беспечен:
кто там, что там внизу —
наплевать, наплевать!..

Стают снега в лесу, устоится погода,
он, доверясь привычной ему высоте,
древний «стих»
основателя, может быть, рода
бормочать начинает еще в темноте:

«Тэк-тэк-тэк!» Запрокинуто жаркое горло,
черный веер распахнут во всю ширину,
и расстегнуты латы, и выгнута гордо
грудь
в ревнивую, в чуткую ту тишину.

«Тэк-тэк-тэк!..» Пусть расколется небо
и треснет

под сосною земля! Для него до поры
в мире нет ничего,
кроме собственной песни
и томительной этой любовной игры.

Но на деле — ах, столько веков миновало! —
в мир давно уж на смену бесшумной стреле
громовые, литые пришли самопалы —
сто смертей, коль без промаха,
в каждом стволе!

Ну а он все поет...
Он, как прежде, бормочет
«стих» свой древний —
и слеп в это время, и глух.
И шаги отмеряет к нему между кочек
смерть...
И носятся в воздухе перья да пух,
где упал он. Краснеет брусничинкой спелой
в клюве капелька крови... Бледнеет заря.
Не ошибся счастливый охотник прицелом:
очень точно направил смертельный заряд!
Подошел: «Ух, красавец!» — и поднял,
помешкав.
Крылья — в стороны сразу: «Не птица,
а царь!»
И, качнув головою, добавил с усмешкой:
«Но глухарь!
Удивительный просто г л у х а р ь !»

1972

ПИЛИ ИЗ РЕЧКИ КОНИ...

Реки — не человеки,
но и они — не вечны.
Страшно открыть такое
разуму вопреки.
Вот она — та дорога,
вот он — тот луг заречный,
мост, где была плотина...
Нет лишь самой реки.

Ласточек сколько было!
Нет...
Берега опали.
Галечник под ногами,
там, где была вода.
Господи, неужели
в детстве мы здесь купались?!
И неужель мой сверстник
здесь утонул тогда?!

Вздрагиваю: «Не сон ли?!»
Явь — тяжелей кошмара.
Грустно ступаю руслом,
думаю по пути:
как она умирала —
солнечного ль удара
или — страшней — людского
сил не найдя снести?!

Реченька — ах, узнать бы! —
 сколько тебе от роду
было и что ты, речка,
 видела на веку?
С камушка да на камень
 ты все струила воду
и наконец открылась
 первому мужику.

Он подошел напиться —
 воду взмутила щука,
из камышей поднялся
 выводок на крыло...
Плюнул мужик в ладони,
 крякнул — и начал тюкать:
лес мужику был нужен —
 «место красно зело!».

В полдень, устав, купался...
 Думал, присев на бревна:
«Только бы сил достало...
 Лес-то — под облака!
Есть и полегше земли —
 ясно! Тайга огромна.
Есть... Но ведь тут-то, тут-то...
 Боже ты мой, река!»

А ведь река — не только
 рыбно там, да красиво,
речка — еще дорога,
 банька на берегу...
И поднялись здесь избы,
 как и по всей России,
как и по всей России —
 окнами на реку.

Сколько с тех пор разливов
 было — никто не помнит...
Щуки плескались в речке,
 хвост у иных — с весло!
Черпали бабы речку,
 пили из речки кони —
не становилась мельче...
 Что же произошло?

Что же?.. Ступаю ложем
речки, как небо, древним:
здесь вот был Черный омут,
нынче — лишь бочажок...
Видимо, кто-то выше,
ниже моей деревни
меньше любил речушку,
плохо ее берег.

1972

РЕВНОСТЬ

(По народным мотивам)

...У клуба, конечно, конечно, под топодем
гармонь-то поет! У девчонок в кругу.
А я еще лугом, а я еще по полю,
ботинки в росе замочивши, бегу.

И брюки... хоть выжми! Напрасно отпаривал,
напрасно наглаживал, делал стрелу...
А Васька-то как с ней вчера разговаривал!
Сорокой вертелся пред ней на колу.

Ну нет, брат, не выйдет! По этой по тропочке
побегай-ка столько, помни-ка траву.
Я, может, седьмые сегодня подметочки —
роса-то какая! — на ней оторву!

Пусть скажет Алена да свет Николаевна,
сколь темных ночей недоспал я в году.
Меня, что б ты знал, и собаки облаивать
давно перестали, когда я иду.

Да я уж давно бы — дорога недлинная —
ее заневестил, тебе доложу,
когда б не маманя. Бубнит: «Не малина, мол.
Небось не осыплется!» Вот и хожу.

А ты тут... Меня — не тебя она тешила!
При публике — да! — в намереньях пряма,

сама мне гармонию на правое вешала,
за отводом, в поле, снимала сама!

Аленка — она, брат, такая характером!
И вот что, студентик, запомни ты впредь:
ее от меня не оттащишь и трактором,
а ты... бородой захотел оттереть!

Хо-хо! А приличную скорость-то выжал я!
— Приветик, ребята!
— Здорово, садись.—
Ой-ей! А ведь Васька-то, рожа бесстыжая,
с Аленкой опять же танцует, кажись?!

Ну, точно: с Аленкой! Ах, маменька родная!
Взглянула бы ты, что творится-то тут...
Малина, малина она огородная!
Сорвут — не осыплется... Точно: сорвут!

1972

ПИШИТЕ ПИСЬМА МАТЕРЯМ

Поют гитар походных струны
в тайге, в горах, среди морей...
О, сколько вас сегодня, юных,
живет вдали от матерей!

Всегда вы где-нибудь в дороге —
то там объявитесь, то тут...
А ваши матери в тревоге
вестей от вас все ждут и ждут.

Они считают дни, недели,
слова роняют невпопад...
Коль рано матери седеют —
не только возраст виноват.

И потому, служа солдатом
или скитаясь по морям,
почаще все-таки, ребята,
пишите письма матерям!

1972

КОГДА СЫНОВЬЯ НА ВОЙНЕ

Матери, Екатерине Васильевне

Приеду к ней, бывало,
рядом сяду
и — как же, мол, в войну-то ты жила?
— Да как... — вздохнет. — Четыре года кряду
все плакала, все слезыньки лила.
Как г р я н у л о —
от Коли ни словечка...
А я все жду. А я креплюсь и жду.
Увижу почтальоншу — на крылечко
бегу встречать: не верую в беду.
А ночью лягу —
кровь, все кровь мне снится.
Толкую сон: «О доме затужил...
Живой...»
А немцы, слышу, у столицы.
А Коля — в пограничниках служил...
От батьки-то в те дни как раз,
помята,
пришла-таки писулечка одна.
«Ох, где-то наши, Катенька, ребята?
Увидимся ль, как кончится война?»
И все... И больше не было ни строчки.
И скрашивали боль мою и грусть
твои — я получала их — листочки,
я их читала бабам наизусть.

А если не писал и ты, Сережа,—
не знала я, куда себя мне деть...
Одно лишь оставалось мне — о боже! —
на ваши фотокарточки глядеть.

Вот прибегу растрепанная с поля —
и к карточкам, лишь двери отворю:
«Сережа, добрый вечер. Здравствуй, Коля.
И Вася, тоже здравствуй», — говорю,
Одну, другую карточку с комода
сниму...

А в горле ком — не проглочу.
И так вот день за днем — четыре года:
то плачу, то работу ворочу.

А бабы — им не все же горе мыкать
(его хватало, горюшка, на всех) —
наладятся в какой-нить праздник выпить,
да с пьяна-то забудутся — и в смех.
А мне так дико это все — ушла бы!
И грудь теснит —

вот-вот сорвусь на крик:
«Да как вы это можете-то, бабы,
смеяться-то?! А вдруг да в этот миг
кого-нибудь из ваших ненаглядных
убило?! Крикнул: «Мама!» — и затих...»

А отойду: «Смеются — да и ладно.
Поплакать

будет времечко у них...»

И верно:

редкий день без причитанья.
Услышишь — аж мурашки по спине!..
Нет матерям страшнее испытанья,
чем то, когда их дети на войне.

РОЖДЕНЬЯ 1945-го

В ту осень стояла погода
на славу... И было как раз
начало учебного года.

И в школу,
впервые в свой класс,
пришли, молодого раденья
и, ясно, волненья полны,
счастливые дети
рожденья
четвертого года войны.

Стояли мальчишки, девчонки
кружочком у школьных дверей,
держа по привычке ручонки
худые
в руках матерей.

А сзади видавшие виды,
в сиянии скромных наград,
стояли отцы-инвалиды
и глаз не спускали с ребят.

Не баско одеты, обуты
ребята, да суть ведь не в том...
Значительность этой минуты
поймут они только потом.
Учителька медлить не стала
и, первой взойдя на крыльцо,

«Пожалуйста»,— мамам сказала,
«Прошу!» — пригласила отцов.

И вот, на учење азартны,—
все было в новинку пока,—
ребята уселись за парты,
занявши два первых рядка.

А папы притихли. А мамы —
платочки к глазам у стены...
— Как мало, ах как же вас мало,
ребята, вернулось с войны...—

сказала учителка, словно
подумала вслух. И в ответ:
— Вы спутали, Анна Петровна...—
пропел ей один шпингалет.—

Мы не были... Вы пошутили...
Мой папа — так точно...
— И мой!
Его там чуть-чуть не убили,
а он им — ага!.. И домой.

— Вы правы, конечно, ребята.
И я на войне не была...—
И вновь по незанятым партам
глазами она повела.

И так захотелось поверить
ей в то, что сейчас вот, сейчас
привычно откроются двери
у ней за спиною,
и в класс
Аленки, Николки, Маняшки
вбегут и, волнуясь слегка:
«Мы,— скажут,— играли в пятнашки...
Совсем не слышали звонка!»

Так это услышалось ясно,
что вдруг обернулась она.
Да только напрасно, напрасно:
за дверью была тишина.

ПЕРЕКУР

Солнышко усталое катилось
за полдень, сжигая синеву...
Мужики закладывали силос,
весело работали, красиво...
Покурить присели на траву.

Крякали, подбрасывали шутки:
— Не стихи писать, мол...— в адрес мой.—
Тут, мол, сбросишь лишнее за сутки! —
И дымились мирно самокрутки,
и вились стрижи над головой.

А потом,
большой, простоволосый,
фронтовик бывалый, ныне дед
Клим Вольнов сказал, окурок бросив:
— У меня, Васильевич, вопросик
есть к тебе... Ответишь али нет?

— Что ж, давай...— От Клим жди подвоха:
я насторожился.
— Значит, так...
Тут один из вас... того...—
со вздохом
начал Клим.— Смотался — ну, эпоха! —
за границу, мать его растак!
Я прошел войну и знаю: худо —
перебежчик... Это ж не в кино!

Ты вот и скажи теперь: откуда,
из какой губерни он, иуда,
родом?

— А тебе не все равно?

— Все равно?..— И Клим прищурил узко
левый глаз.— А вдруг он мне родня?! —
Сплюнул и добавил зло и грустно:
— От его фамилии-то русской
тень-то ведь легла и на меня.

И такое чувство в результате:
будто он из нашего полка,
перебежчик этот и предатель...
— От своей фамилии-то, кстати,
он отрекся,— вставил председатель.—
Так что...
— Ха, утешил старика!

Да ведь этим самым он мне в рожу
залепил еще один плевок,
гад ползучий! — лихо подытожил
Клим Вольнов.
— И мне,— сказал я тоже...
Что я тут еще добавить мог?!

1972

В ЗАЩИТУ СТАРИКОВ

Суетливы, на руку скоры,
слышал я, мудрецы в очках
позатеяли разговоры,
даже споры —
о стариках.

С высоты трибун, диссертаций:
«Поглядите! — подняли крик.—
Сколько бродит картинных старцев
по страницам последних книг!
И, что важно, они нередко
мелют только, а не куют!..
Тешась щами да квасом с редькой,
с обветшалой моралью предков
пред читателем предстают.
Много ль нам от таких «героев»
толку? Что у них за душой,
кроме жалоб на нездоровье
да охоты к речам
большой?

Позабыв, что давно с базара,
и утратив былую прыть,
не утратили старцы дара
утомительно говорить.
Дайте им разойтись — замучат!..
А меж тем о жизни самой
представленья их столь дремучи
и отсталы, что боже ж мой!..»

Что на это сказать, ответить?
Да, померк он для старцев, свет...
Но

в семнадцатом

старцам этим
было... двадцать неполных лет!
Двадцать! Слышите, пустомели?
Мир от бури глох. И они
по-за печками не сидели,
труса празднуя, черт возьми!

Ну а после,

утерши лбы-то,
по вокзалам, цехам, дворам,
что наломано и набито,
дядя, что ль,

за них

подбирал?!

Или: кто на лютых морозах
зажигал Магнитки огни?
Кто бессменно ломил в колхозах?
На лесных делянках?
Они!

И хватило б тех дел, ей-богу,
им,

чтоб чтили их век сыны!

А они еще вспомнить могут
и четыре года войны.

Смерть просеивала сквозь сито
жизни — выжили!.. И опять,
что наломано и набито,
им же выпало подбирать.

Старцы — всё они испытали!

Так с каких это пор, с каких
нам, расправившим крылья,

стали

утомительны речи их?!

Представленья о жизни — косны
и дремуча, как лес, мораль?

Я к вам, старцы, иду с вопросом:
«Где

и как закалялась сталь?»

НОВОГОДНИЙ ТОСТ
В КРУГУ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ

Побратимы, мальчики, ребята
с белым ранним снегом в волосах!
В самой верхней точке циферблата
вновь сомкнулись стрелки на часах.

Ясно, что не стали мы моложе:
нам уж не по силам марш-бросок,
сд́ало зренье...

Но и все же, все же —
пьем за порох, а не за песок!

Ну-ка, есть ли он в пороховницах?!
Есть!

Сухой ли? Как всегда, сухой!
Пьем за порох! Порох пригодится,
если это порох неплохой.

Пусть дельцы сегодняшние, кстати,
знают, что и в мирные года
мы его умеем с толком тратить,
защищая Чести города!

И ни ложь, ни лесть —
мы не допустим! —
эти города не покорят.
Пьем за право первым встать на бруствер,
если долг и совесть повелят!

Не водой оплачено, а кровью
это право — кровью тех ребят,
что сейчас в лесах по Подмоскovie
в братских, наспех вырытых, лежат.

Страх нам просто должен быть неведом,
ветераны: жребий наш таков...
Иль не нами добыта победа
в величайшей битве всех веков?!

Прожитое в этот миг итожа,
скажем прямо: полдень наш высок,
мы уже не те... И все же, все же —
пьем за порох, а не за песок!

ЧИТАЯ ИСТОРИЮ

Как долго ты училась жить, Россия...
И даже в час, когда тебя рвала
по-волчьи

на куски

орда Батыя —
всяк князь звонил себе в колокола...

И, глядя на дорогу через щелки
бойниц,

шептал, крестясь на образа:
«А вдруг они проскачут мимо, волки...
А вдруг пройдет сторонкою гроза...»

Напуган, с тем ложился и вставал он...
И не спешил на помощь, втайне рад,
что осажден, по слухам, град немалый,
в котором княжит дерзкий супостат.

«И поделом... И пусть он примет муку...» —
шептал,

лелея мысль, что наконец,
побитый, под его придет он руку,
поклонится ему таки, гордец.

А утром —

со стены как на ладони
видны — через луга, через поля
монгольские выносливые кони
скакали, гривы по ветру стеля.

Неслись, набиты рухлядью, кибитки,
вздымались пыли черные столбы...
Орда клубилась... И начала битвы
ждала, как в лес набега по грибы.

Ждала... Носились с гиком в седлах люди,
опробуя арканы и ремни...
Ждала... А град, как яблочко на блюде,
лежал пред ней — лишь руку протяни!

Лежал. Один. Ни с севера, ни с юга
подмоги... Ни с которой стороны.
И ратники, тесня плечом друг друга,
глядели обреченно со стены.

Они-то знали: завтра стрелы свистнут,
нетерпеливо звякнут стремена,
качнутся пики — и пойдет на приступ
орда. И станет низенькой стена.

Как полая вода через плотину,
на город опрокинется орда,
строй ратников прорвав, как паутину...
И дым и пламя вымахнут тогда
из окон... И заржут, взбесившись, кони...
Собьются в кучу овцы на лугу...
И женщины, спасаясь от погони,
завзвизгивают в страхе на бегу...

...Остынет к утру пепел. «Сыроядцы»
поганые,
уоставши пировать,
на запад дальше с гиком устремятся,
оставив мертвых воронам клевать.

А на живых — подушно — дань разметят,
которую платить под свист плетей
до самой смерти им,
а после — детям,
а там еще и детям их детей.

...Как долго ты училась жить, Россия!

КОСТЕР, ЧТО ГРЕЛ ТЕБЯ...

Когда костер, что грел тебя, потух
под утро,— не отчаивайся,
прежде
чем тронешь пепел палкою, в надежде,
что есть еще под ним веселый дух
огня...

И, обнаружив уголек,
хотя б один,
вставай на четвереньки,
бересту подвигай и помаленьку
вздувай, вздувай желанный огонек!

Вздувай, поскольку спички, под дождем
забыты, безнадежно отсырели.
Вздувай, мой друг,
стремись упрямо к цели,
вздувай — и будешь ты вознагражден!

Опять к теплу потянется рука.
Да и душа отгадет...
Знай, дружище:
нет ничего печальней пепелища,
в котором под золой — ни уголька.

И потому, когда шумят ветра,
когда в лесу хозяйничает осень,—
не поленись хотя б сучок подбросить
в костер, чтоб не потух он до утра.

Чтоб снова огонек-неугомон
от уголька родился на рассвете...
Остывший пепел!
Есть ли что на свете
для сердца холодней еще, чем он?!

1973

ЗЕРНО

В чем суть зерна? Ужели в том, чтоб стать
в конце концов, как все живое, прахом?
Нет, суть его в другом: произрастать!
И лучше всех об этом знает пахарь.

В амбаре, на неструганых досках,
зерно,
когда белым-бело в округе,
томится неизбежностью ростка,
ждет часа своего под шорох вьюги.

Весною пахарь, как заведено,
на поле, где грачи кричат картово,
зерно посадит в почву, и оно
произрастет.
И будет в этом право!

Что в мире веселей, чем зеления?!
Что есть еще
возвышенной, чем всходы?!
Вот-вот колосья выстанут, звеня...

И лгут, что все зависит от погоды!

1973

ДУМЫ ПАХАРЯ

— ...А о чем
размышляешь ты, пахарь, когда,
в чистом поле оставив орудья труда,
наконец засыпаешь, угревшись в тепле?..
— О земле.

— Ну а после,
в предутренний час тишины,
когда ты надеваешь, зевая, штаны,
а деревня, и поле, и лес — все во мгле?..
— О земле!

— А в обед,
обретя наконец-то покой,
когда ложку берешь ты одною рукой,
а другой — свежий хлеб, что лежит на
столе?..
— О земле!

Очень думы мои широки:
от реки,
где в покосах мои интересы,
до леса,
из которого ходит медведь на овсы
в те часы,
когда влажны метелки овса от росы
и ни звука во всю ширину полосы,..

— В чем, по-твоему, пахарь,
земли красота?
— В тучном хлебе, которым она занята!

И зимой моя дума об этом,
и летом,
с ней я в поле на тракторе еду
с рассветом...

Ведь красива земля —
в этом нету секрета! —
та, что сердцем — не только лучами —
согрета!

Сердце ж копит тепло лишь тогда,
когда рядом
уживаются в нем
и забота и радость.

1973

НА ПАШНЕ

— А я, когда пашу,— пою!
Особенно в часы рассвета.
поскольку —
что плохого в этом? —
люблю профессию свою!

Да, не артист я, не поэт...
Но почему не грянуть, если
есть настроение для песни
и... этот... аккомпанемент!

Люблю ямщицкие орать,
захлебываясь от простора:
они на музыку мотора
ложатся лучше, так сказать...

Как грянешь:
«Степь да степь кругом...» —
польется песнь легко и просто,
и вдруг... и вдруг напомнит остро
тебе о времени другом.

О том безрадостном, о том,
когда твой дед — не то что прадед —
еще лошадкой в поле правил,
вовсю орудуя кнутом,

Под небом —
от холма к холму

мир не казался деду тесен...
И все же было не до песен
на узкой пашенке ему.

А предо мной — такой простор!
А надо мной — такое небо!..
И «Будем с хлебом, будем с хлебом!» —
твердит мне яростный мотор.

Плыву я — желтая стерня
сверкает слева от меня,
и правлю по стерне я,
А справа —
эку красоту
творю я! —
пашня, пласт к пласту,
раскинулась, чернея.

Она парит, как тот пирог,
что только вынут и разрезан...
И не бензином и железом —
землею пахнет ветерок.

Тот запах тонкий различать —
такая, знаете, отрада,
что если б даже было надо
молчать — не смог бы я молчать!

И я действительно пою,
ору под музыку мотора,
захлебываясь от простора:
— Да будет хлеб в моем краю!

1973

РАЗГОВОР

— Дедуся, но при чем тут горожане,
когда мы говорим об урожае?
— При чем? Хе-хе... Не знает он, при чем...
Да мы теперь... чего без них мы стоим?
Без них у нас теперь кругом простои...
Мы даже хлеба сами не печем!

Да, да, и хлеб у нас из тех пекарен,
из городских... Отстал ты, вижу, парень,
от жизни... И не диво: столько лет
не залетал в родную деревеньку...
А жизнь и здесь, как видишь, помаленьку
течет... вперед! Назад ей ходу нет.

Кто молод был — те стали стариками...
А гору, парень, старыми руками
как ни храбрись ты — а не сковырнешь!
Где молодежь?.. Хе-хе... Опять вопросик...
Да где ее теперь ведь черт не носит!
Везде, послышишь, наша молодежь.

И так же вот, деревню обожая,
наверно, на уборку урожая
оравой ездят... и на сенокос!
А что не ездить, ежели зарплата
идет («зряплата» — так ее ребята
зовут), а поит-кормит их колхоз?!

Мы им, как говорят, за труд ударный —
и неударный даже! — благодарны.
Побольше б нам сюда таких ребят:
всем дел найдем при наших-то заторах...
Да и нужны ль они в своих конторах.
коль и без них конторы не горят?!

Иные, аж пока не грянет стужа,
живут у нас... И кажется, не тужат.
Кто, слышь, копал картошку в холода?
Они копали!.. (И они ж сажали!)
А ты мне — ха! —
«При чем тут горожане?»
При том, брат, что без них мы — никуда...

1973

ЖИЗНЬ

— И до чего же она коротка,
жизнь-то!.. — вздыхает старик, опечален.—
Диво, давно ли все было в начале,
все, как в начале большая река...
Все, как раскрытая только тетрадь,
первая строчка на белой странице...
Глядь, позади уж события и лица,
годы... И время тетрадь закрывать.
Эх, кабы выбросить эту тетрадь,
взять бы другую... И в том же порядке
с опытом нынешним в новой тетрадке
жизнь — уж теперь набело — написать! —
Юноша слушает речь старика
(и половины пути не прошел он!)
и размышляет, сомнения полон:
«Жизнь, разве так уж она коротка?!
Верно, не две у меня их — одна,
ну и — любому известно — не вечна...
Но разобраться — почти бесконечна!
Старость, когда-а еще будет она!
Я еще только когда-то влюблюсь,
ждать да пождать, когда свадьбу сыграю,
стану известным, детей нарожаю...
Нет, ты лукавишь, пожалуй, дедусь».
— Дедушка, помнишь ли ты вечера,
те, что провел... ну, с любимой девчонкой? —
Дед улыбается: — Вон, брат, о чем ты!..
Как же забыть-то их?! Словно вчера
с нею встречался я... Помню, внучок,
даже как солнце за стогом всходило,
сколько на кофточке розовой было
пуговок... Ну, да об этом молчок...

ЛЕС БЕЗ ПОДРОСТА

Я знаю лес, не молодой уж лес.
Стволы его как мощные колонны,
а между ними — своды...
Это кроны,
поднявшиеся чуть не до небес.

Просторно и вольготно лес возрос.
Но диво:
под его зеленой шапкой
безрадостно и вроде даже зябко,
как в доме, предназначенном на снос.

А жизнь и тут — хотя не бьет ключом,
а все ж — идет... С чего же так?
А просто
с того, что нет совсем в лесу подроста,
и лес — я это знаю — обречен.

Вот свежие виднеются пеньки
(а пень ведь — это дерева могила).
А вон лежит сосна — она погибла
в грозу, — идут к ней с топорами мужики.

Летит сорока — аж за полверсты
видать ее: лес режет год от года...
Вот так и вымрет хвойная порода
дерев. И в землю вцепятся кусты.

Осинник да ольшаник, поглядишь,
всю вырубку покроет, как короста...
А ты, —
ах, бор сосновый без подроста! —
ты все шумишь... Ты сам себе шумишь.

1973

Из цикла
«ЗАЛЕТОЧКА»

(По народным мотивам)

1. НА СЕНОКОСЕ

Ах, косила да косила —
под кустик косу бросила,
брусок под ветку ивову,
сама по тропке — к милому!

Иду, жую травиночку,
на ту на луговиночку,
где мною на заметочку
взята рубаха в клеточку...

Иду —
кофтчонка белая
на мне — иду, несмелая,
в резиновых, прокосами,
в сапожках, мытых росами.

Навстречу мне в два лучика
из-под льняного чубчика
поглядочка нестрогая:
«И то — пора залоговать...»

Костер у ног попыхивал,
дымилась речка тихая,
и чай заварен быстренько
смородиновым листиком...

И я запомню навеки,
как брал меня он за руки,
как целовал, забавушка...

Как пахла медом травушка,
что чуть привяла, скошена...
Как он шептал мне на ушко:
«Любимая, хорошая...»

1973

2. У ПЕРЕВОЗА

Г. В.

Через речку быструю, через плес
я кричала вечером перевоз:

— Спишь ты, что ли, лодочник! Э-ге-гей!
Мне бы на ту сторону поскорей.

Там сейчас гуляние, праздник там... —
Но в ответ мне эхо лишь по кустам:

«Э-ге-гей!..»
Уж туфельки я сняла,
по колени в реченьку забрела,

и машу косыночкой, и кричу,
и боюсь, что платьице замочу...

Вижу, вышел на берег великан,
два крюка — ручищи две — по бокам.

И ко мне от будочки, от ворот
через речку быструю прямо вброд!

В новеньком костюмчике, в башмаках:
— Стой, Маруся! Я тебя — на руках!

Поняла по выходке, по словам —
это мой залеточка, мой Иван!

— Ванечка-а! Ванюшечка-а!
— Помолчи!
— Ты хоть, Ваня, часики не мочи!

Глянь, тебе уж речка-то по карман,
сокол мой, орелик мой, атаман!

Зря не снял ты, Ванечка, пиджачок...
Ну иди ж, иди ко мне, дурачок!

Я тебя и мокрого обниму... —
И тяну я рученьки встречь ему.

— Обнимай! Зачем тебе перевоз! —
Гаркнул, поднял на руки и понес.

А кругом — ну надо же! — ни души.
— Ванечка... родименький... не спеши!

Пуще обнимаю я мил-дружка...
Ну хотя бы кто-нибудь с бережка

глянул, как на Ваниных на руках
я плыву — головушка в облаках!

1973

3. БОЕВАЯ

Как будто громкоговорители,
в начале дня, на склоне дня,
ругают дролины родители
«вертиголовую» меня.

И молода, и нестепенна я...
А я в ответ им: — Не беда!
Степенной стану непременно я,
когда совсем войду в года.

Да и не гордая, а средняя...
Себя не ставлю я, как флаг,
всех выше...

Но и не последняя!
Уж это точно, это факт!

В одном вы правы, что отчаянна...
И, дроля, ты имей в виду:
коль мать послушаешь — печальная,
я с камнем к речке не пойду!

Я встану гордо со скамеечки
в той самой кофте голубой
и самой бойкой перебеечке
сама пойду на перебой!

Хоть некрасивая — так смелая.
Кого-то любят за красу —
а за меня березка белая
растет красивая в лесу.

Пойду,— такой уж я породушки! —
пойду, припевками звеня.
Ты полюбуйся со сторонушки
на боевую на меня.

Нас разлучить желают навеки,
но разлучи-ка лед с водой!..
Перехитрим ужо — не маленьки —
мы разлучителей с тобой!

1973

4. ПУСКАЙ ГОВОРЯТ

...Вспугнут иную — заикает,
ославят зря — всю ночь не спит.
А я люблю, когда сверкает,
а я люблю, когда гремит!

Я не твержу: «Ой, что-то будет!» —
залетке. И не прячу взгляд.
И не гулять — так бабы судят,
а и гулять — так говорят.

Гуляю — сплетницам в отместку,
на зорьке падаю в кровать...
Коли бояться сильно треску,
так и в лесу не побывать.

И про меня — я это знаю —
седьмая слава на году.
Ну что ж, пускай идет восьмая —
я все равно не пропаду!

Вы продолжайте, бабы, хаять
меня у каждого столба...
А я залеточке такая,
такая до смерти любя!

1973

5. ЖЕЛАНИЕ

Хорошо занять бы туфли мне
да на легоньком бы ходу,
чтоб не скрипнули и не стукнули,
если поздно домой приду.

Чтобы мама ни на вот столечко
не расслышала бы в тиши,
как у самой калитки дrolечка
целовал меня от души.

Как он после на изгородочку
сел, а я по мосткам — чок, чок!
Полюбуйся моей походочкой,
кепка серая набочок!

Люди прочат мне — верно ль прочат-то?—
даже в суженые его.
Хоть не очень-то, между прочим-то,
он мальчишка, да ничего...

Мама утречком заругается —
не из строгости, просто так:
и куда, мол, платки деваются,
напасти не могу никак!

Неужели не догадается
мама? Мне ведь семнадцать лет!
Ими миленький утирается!
Вот и все, вот и весь секрет...

1973

МОНОЛОГ ПРИРОДЫ

Я — Природа. Я — великий мастер.
Вечный мастер жизни. Я могу,
Человек, тебе за соучастье
подарить —

 в моей все это власти! —
гриб в лесу, ромашку на лугу,

небо в час восхода и заката,
ягоду в бору...
И наконец,
солнцем прокаленный, рыжеватый
хлебный колос! Как всему венец...

Только ты
 мой дар, мое уменье
не прими за дань: я не раба.
Не забудь: ты сам — мое творенье!
И у нас с тобой — одна судьба!

Да, ты вырос. Ты протислся с детством.
Шире — что ни год — твои шаги...
Но не занимайся самоедством!
И быллинку даже, что в наследство
я тебе вручила,
береги!

Мы с тобой дорогою одною
катимся — ни часа врозь, ни дня...
И не можешь быть ты н а д о м н о ю,
как не можешь быть

 и в н е м е н я.

СКАЗКА ДЛЯ ВНУКА

...И в лунном свете, льющемся в окно,
игрушки все утратят вдруг окраску.
И бабушка заведет для внука сказку:
«А было это, внук, давным-давно...»

«Когда — давно?» — смежив один глазок,
вопросом внучек бабушку озадачит.
«Давно-о... Ну, как тебе еще иначе
сказать? Давно! Совсем давно, дружок.

Когда твоя прабабушка молода
была еще... А лес кругом был целым...
И снег — ты представляешь? —
снег был белым,
и синевой в реке была вода.

И прадед твой, и в молодости дед
ходили часто вместе на рыбалку...»
И снова озадачит внучек бабушку:
«А почему теперь рыбалки нет?»

«Сейчас скажу... Ты только не спеши...
Твой прадед, дед —
зачем к реке пошли бы,
когда бы в ней не проживали рыбы —
и окуни, и щуки, и ерши...

Бывало, и ночуют за рекой:
костер запалят, приготовят ушку...»
Внук спал,
упав на поролон-подушку
горячею и мокрою щекой...

1974

НА СТРАЖЕ САДА

Когда ваш сад —
творенье ваших рук —
подрос,
чтоб отвести ветров угрозу,
поставьте щит,
надежный щит вокруг —
ряд возле ряда —
белую березу.

Жучкам
в ее коре берестяной —
уж точно! — нечем будет поживиться.
Зато какое раннею весной
в ветвях ее
раздолье будет птицам!

Все есть у ней:
и стать, и высота,
и чистота...
И стойкость, если надо.
Все,
что необходимо для щита,
которому стоять
на страже сада!

1974

Я ВЫРОС В ЛЕСУ

Так точно: я вырос в лесу!
Так точно: я лес обожаю.
И — само собой — уважаю
величье его и красу!

Как дома я в светлом бору:
ни пни не страшны мне, ни кочки.
Ты в нем собираешь грибочки,
я песни и сказки беру.

Ты в лес норовишь с топором,
а то с кузовком на болото...
А я по чащобам с блокнотом,
по рошицам светлым — с пером.

Кружу — то назад, то вперед.
Стою, околдованный бором:
он, бор, зашумит —
так уж хором...
Послушаешь — дрожь проберет!

Пускай для тебя примитив
та песня: ни складу, ни ладу.
А мне он, напротив, в отраду,
тот льющийся в душу мотив.

А в рощицу я попаду —
услышу:
лопочет осина...

лепечет береза, красива...
рябина играет в дуду.

А вон, со смычком на весу,
во фраке работает дятел...
И музыкой этой приятен
мне день, проведенный в лесу.

Я слышу, как ландыш
в траву
фарфоровой чашкой о чашку
звенит... Я иду. Нараспашку
душа!
Я счастливо живу!

1974

ОДИН ЛИШЬ РАЗ...

Иду по тропочке. Стоят,
колючие, ершистые,
четыре елочки подряд,
а пятая — пушистая.

Стоит на взгорочке, скромна,
от всех других отличная.
Пускай на чей-то взгляд она
не лучшая — обычная.

И рост-то мал, и нрав-то тих —
с такой не знать отрадушки...
Зато, в отличие от других,
у ней не лапы — лапушки!

Ее, пушистую, бы взять —
не знаю, за которую,—
и, как девчоночью, пожать
и отвести бы сторону.

Пред теми, кто глаза косит
и кто петляет около,
она не юбочкой форсит,
а сарафаном до полу.

Ах, сарафан... Среди берез,
с ромашками в оборочке.
Все необычное до слез
в моей пушистой елочке..

Не так, как все, в рассветный час
шумит, не так качается...

Т а к а я

каждому из нас
один лишь раз встречается!

1974

ЗЕМЛЯНИКА

Полине

...А ведь помнишь и ты, поди-ка,
как, едва опечет росу,
мы бежали по землянику
с туесочками на весу.

Далеко-далеко от моря,
в полевом да лесном краю,
летом тем
 без нужды, без горя
жили-были мы, как в раю.

Только-только что подступала,
погромыхая с утра,
сенокоса да сеновала
трудно-праздничная пора.

А она уже, земляника,
словно девочка-егоза,
всюду, радостная до вскрика,
попадалась нам на глаза.

Ах, и что она за плутовка,
эта ягода-чародей!
До чего она прячет ловко
щечки алые от людей!

Из-под собственного листочка
чуть выглядывает, робка,
как девчонка из-под платочка,
заприметивши паренька.

Все ей страшно кого-то, дикой,
ни на шаг от родной земли...
Потому ее з е м л я н и к о й
люди, видно, и нарекли.

На земле, у земли взрастала,
не рвалась высоко блистать...
И такой вот, какую стала,
никому ни за что не стать!

И сочна, и сладка-душиста,
и, как кровь с молоком, красна...
Дива нету: в лугу росистом —
не в болоте — росла она!

Часто —
все-таки не на грядке —
молодая, она в жару
с нами словно играла в прятки,
мы включались в ее игру!

Не срывали, а доставали
мы резвунью из-под листа,
на колени притом вставали,
целовали ее в уста.

И хоть медленно прибывало
в тусочках у нас, зато
веселились мы так, бывало,
как нигде никогда никто!

КОНИ В КУЗОВЕ МАШИНЫ

Едут кони в кузове машины.
Вижу: ошалели от езды...
Тяжело опущены большие
головы
в предчувствии беды.

Гривы как потрепанные флаги,
в деле побывавшие не раз...
Вы о чем задумались, коняги,
что вам вспоминается сейчас?

Может быть, за выгоном зеленый
луг, омытый теплою росой?
Ну, а может, грозный кнут ременный
и рубец на крупе полосой?..

Скрип повозки, бряканье бидонов,
сладкий дух парного молока?
И обратный, ночью, путь до дому,
до двора, под окрик мужика?

Иль зимою, в розвальнях,
с сугроба
на сугроб — вся морда в куржаке...
Что ж такого: жизнь коня — дорога,
чаще с возом, реже налегке.

Всё возили вы
и всех возили...

А сегодня в клетке — как на суд, —
в клетке на вертящейся резине
вас самих везут... Куда везут?

В первый раз везут не понукая:
стой бок о бок с ближним и молчи...
Ах, за что вам выпала такая
почесть, бедолаги-гривачи?!

1974

ГЛАЗА И РУКИ

Мне дело сделать предстоит.
Глаза — не стану притворяться,—
глаза мои его боятся,
страшатся, лезут из орбит.

«Да это ж черт-те что! — кричат.—
Да ты же, господи, не лошадь,
чтобы тащить такую ношу,
такую гору на плечах!

Брось! — мне командуют.— Не тронь!»
А руки — в этот миг похожи
на жернова —
о кожу кожей,
ладонью трутся о ладонь.

Но вот уж правая, права
в намеренье,
на левой, слабей,
а следом левая на правой
закатывает рукава.

Потом, дымящую, берут
из губ и тушат сигарету.
И обращаются к предмету
и принимаются за труд.

Ах, руки, лучший механизм
на свете!

Вы, когда мне нужно,
то снизу вверх летите дружно,
то разъяренно сверху вниз!

Сто, двести, тысячу раз подряд —
вверх-вниз! Удары ваши крепки.
То искры жаркие, то щепки,
то брызги в стороны летят!

И пусть спина моя парит —
я с каждым взмахом ближе к цели,
я вижу: дело,
в самом деле,
горит в руках моих, горит!

И вот — конец! Мое плечо
гудит... Зато глаза сияют...
А руки грязь с себя смывают —
они как будто ни при чем...

1974

ЧЕЛОВЕК ЖИВЕТ В ДЕЛАХ

Саше

Помни,
в путь собравшись дальний:
человек живет в делах!
Лишь они материальны,
остальное — тлен и прах.

В человеческом понятии —
рядом — разные дела:
одному вослед — проклятье,
а другому — похвала.

Даже больше — честь и слава!
Есть дела —

 другим делам
драгоценная оправа,—
труд с талантом пополам.

Говорят: талант от бога,
этим дан, а этим нет...
Всем зато дана дорога —
кто какой оставит след?

Потому тебе задание:
жизнь делами возвеличь!
Положи кирпичик в здание,
а не вышиби кирпич!

Не чурайся дел неброских...
Но, творя дела, стремись,
чтоб хотя бы отголоски
их

до внуков донеслись!

1974

ГОДЫ

Вот что мы поняли крепко, как пожили:
годы — не ноша, пока молодой.
Юные годы — как ведра порожние,
старые годы — как ведра с водой.

Верно, что все на одну мы колодочку
сшиты... Но верно и это стократ:
молодость мчится с пустыми к колодечку,
с полными старость плетется назад.

Еле плетется, обутая в катанки...
Вылить бы воду — и с плеч бы гора!
Но невозможно убавить и капельки,
капельки даже одной из ведра!

И попросить: «Помогите, ровесники!» —
тоже нельзя ей, согбенно-седой:
каждый

свои

поднимает по лесенке
личные, полные ведра с водой...

1974

«АВОСЬ!»

Уж это наше русское «авось»!
Не счесть,
издевок сколько да насмешек
за тыщу лет из-за него нам, грешным,
со стороны услышать довелось!
Мы на «авось»
вбивали в стену гвоздь,
пахали,
выходили на охоту...
О господи, какую мы работу
не начинали только на «авось»!
И очертя головушку то вниз
летели мы, то вверх —
судьбу пытали,
ее капризу противопоставив
души смятенной собственный каприз.

...Смеяться над «авось» —
ты это брось!
Отвага. Непокой. Игра в удачу.
И риск еще. И дерзость!..
Вот что значит
от века наше русское «авось»!
С рождения — болота да леса
в глаза нам. Мы не баловни природы.
Нет хуже нам
у моря ждать погоды:
«Авось!» — и поднимаем паруса.
Кто первым встал —

тому хвала и честь.

Нет злей для нас

и нет жесточе муки
сидеть, когда прижало, сложа руки,
смириться и оставить все, как есть!

Такой уж нрав с рождения у нас!

Мы ищем не «нельзя» во всем,

а «можно»!

Мы в деле,

даже самом безнадежном,
всегда «авось» имеем про запас!

1975

МАТЬ СОЛДАТА

(Баллада)

Четыре года мать судьбу молила:
«Пусть рана, пусть! Но только б не могила
в далекой, чуждеальной стороне!
Да если рана — я обмою рану,
не спать, страдать его страданьем стану,
с ним, дорогим сыночком, наравне.
Мне весточку бы только — брошу дом я
и прилечу! Достану все снадобья...
Постель поправлю... Мухе сесть не дам!»
Дошли до бога, знать, ее молитвы:
пришел домой сыночек после битвы.
На костылях. Седой не по годам.

Приплыл в сопровожденье санитара
на пароходе...

«Что седой — то даром!
И что худой — подумаешь, дела!»
Подставила плечо ему: «А ну-ка!» —
И обняла. Костыль в другую руку
взяла. И, задыхаясь, повела.

От пота ли не видела дороги,
от слез ли:

волочил сыночек ноги...
А все храбрился: «Сам я, мама, сам!
Дай мне костыль!» — потребовал упрямо.
И встал. И обернулся: «Помнишь, мама,
как я на этой пристани плясал?!»

«Да как же мне не помнить?! Так-то ловко
плясал ты — гнулась каждая половка!
Словутник! — про тебя неслась молва.
Да ты чего?.. Да я уж-ко в баню
тебя... Да травки к веничку прибавлю,
есть у меня надежная трава!

И ты еще так спляшешь тут, что — нате!..
Пойдем...» Но он уперся («Ух, характер!»):
«Я, мама, сам!» — И сгорбился спиной.
И вдруг упал. Она склонилась рядом.
«Ох, мам... Да я... да я же бил их, гадов!
И вот, ты видишь, что они со мной...»

«Но жив-таки! Пришел-таки! Об этом
ты думай! Слышишь?!»

...Дело было летом.
Потом дожди пошли. Потом снега...
Чем только мать не врачевала сына!
Но волочилась левая, бессильна,
и заплеталась правая нога.

А он твердил: «Я сам! Я на крылечко
хочу!» И падал

головой о печку
иль со всего размаху — о порог.
А мать над ним: «Убился, мой роженный!..»
«Нет, мама, — взгляд невидяще-тяжелый. —
Живой... а жаль...» — однажды он изрек.

И вдруг затих. Затрясся весь. Заплакал.
Впервые

покатились слезы на пол —
и в самом деле с кровью пополам.
«Прости мне, мам... Я понял: все напрасно.
Не плясывать мне больше, это ясно,
не хаживать с тобою по полям».

«Да что ты, сын! Да я тебя в больницу!»
...Была похожа мать в тот миг на птицу,
когда у той детеныш из гнезда
вдруг выпал...

Поглядеть — мороз по коже.
«За что же мне такая казнь, о боже?!
Что я такого сделала? Когда?»

Двенадцать раз на землю снега пали
с тех пор. Деревья листья осыпали
двенадцать раз...
В глазах не стало слез...

Напомнила мне вновь, как ты погибла,
о мать, твоя солдатская могила
в тени седых кладбищенских берез.

1975

СЛОВО К РОВЕСНИКАМ

(В день 30-летия Победы)

Тридцать лет уже, люди,
мы живем без войны.
Нас сирена не будит,
мы не слышим орудий...
Тридцать лет тишины.

Рядовым, командирам —
нам уж за пятьдесят.
В наших светлых квартирах
много лет не мундиры,
а костюмы висят.

А припомните, братцы,
кем мы были тогда...
В девятнадцать да двадцать
многим выпало драться —
молодые года...

И попали те годы
в эту жуть-круговерть...
Парни крепкой породы,
мы хотели свободы:
иль свобода, иль смерти!

Враг «работал» толково:
был рассчитан удар.
Коль не «клин», то «подкова»,
коль не пуля — осколок,
не петля — так пожар..

И скрестили мы взгляды
с ним над тем рубежом...
Порастратив снаряды,
в ход пускали приклады,
доставали ножом.

И врывались в окопы
с перекошенным ртом...
Пригодился тот опыт:
половину Европы
мы отбили потом.

Пусть смертельно устали мы —
путь был дьявольски крут,—
но, товарищи старые,
все же мы их заставили
крикнуть: «Гитлер — капут!»

Размели во все стороны
хлам насилья и зла!
В мире стало просторнее...
Братцы, стали историей
ныне наши дела.
Фронтовым поколеньем
нас сегодня зовут.
Тычась в наши колени,
нас, в отметках ранений,
в плен внучата берут.
Просят снова поведать...

Что ж, пусть внуки
о том,
как далась нам Победа,
услышат от дедов,—
прочитают
потом.

1975

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Они к нам не придут, не постучат...
И все ж, хотя нам это всем известно,
мы за столом для них оставим место,
нальем бокалы им... Пускай стоят.

Мы — братья их, нам больше повезло.
Мы — побратимы их, нас миновало...
Зато как после нам их не хватало
и как без них нам было тяжело!

Не ждут их больше матери назад,
состарились их жены и невесты.
Под мирным небом всходят повсеместно
цветы и травы, где они лежат.

Но, памяти о них навек верны,
за счастье жить
мы выпьем честь по чести
и вспомним, не сговариваясь, песни,
что мы певали с ними в дни войны.

«Землянку», «Огонек» и все подряд...
И будем слушать, в чувствах не лукавы,
о чем молчат, нетронуты, бокалы,
о чем они, невыпиты, кричат,

ЗА ДОМ РОДНОЙ

«Мой адрес — не дом и не улица...»

Мотив, безоблачный и ясный,
летит, как саночки с горы:
«Не дом... не улица...»
Прекрасно!
Но так ли это, песняры?!

И мне Отчизны имя свято.
Но в сорок первом — не солгу, —
да что там, даже в сорок пятом
я вашу песенку, ребята,
представить даже не могу.

«Не дом... не улица...» А мы-то,
кровавым заняты трудом,
в окопе, дождиком размытом,
про дом все думали, про дом.

Про дом, когда и впрямь усталость
буквально с ног валила нас,
про дом, когда нам удавалось
закрывать глаза хотя б на час,

про наши улочки-посады
в тени черемух и берез...
И были мы, солдаты, рады
той светлой памяти до слез.

И снились, снились бесконечно
нам сени наши, скрип дверей...
Мы вновь взбирались на крылечки,
держась за руки матерей,—

еще в слезах — такие ревы..
Потом — такие молодцы!
Но как печальны и суровы
вдруг становились мы, бойцы,

когда нам радио вещало,
что город наш, деревня, дом,
где всех дорог и дел начало,
жестоким заняты врагом.

Мы представляли, как по полу,
где мы ступали босиком,
гремят фашистские подковы,
как гнется пол под каблуком;

как за столом, где вместе с нами
сидела в праздник вся родня,—
прожорлива, скрипя ремнями,
сидит чужая солдатня;

как греет фрицев наша печка...
О, как хотели мы тогда
достичь родимого крылечка,
дождаться правого суда!

И потому, когда звучало:
«Вперед! За Родину! За мной!» —
то это прежде означало
для нас: за дом, за кров родной!

За тропку узенькую в поле,
за пашни наши и леса...
За все, что в радости и в горе
для нас имело адреса!

ПОСТОЯНСТВО

Ю. В. Бондареву

Славлю постоянство гордых елей,
потому как ели не из тех,
у кого семь пятниц на неделе,
кто взирает робко снизу вверх!

Рыжей бровью поведет лишь осень,
как уже готовы все в лесу
порыжить и даже вовсе сбросить
с плеч своих зеленую красу.

Только ели — не бывало сроду,
чтобы перекрасились до пят! —
несмотря на рыжую погоду,—
хоть руби! — зеленые стоят!

Мало! Даже в белые метели,
даже в холода, когда вода
замерзает,

 не сдаются ели,
не меняют цвета и тогда!

Вот они стоят — сам черт не страшен!
Отряхают белое с боков,
здорово похожие на наших
очень зимостойких мужиков.

Засугробит все кругом — не дрогнут!
Лишь сгореть, как свечка на ветру,
могут ели. Большего не могут!
Мне такой характер по нутру!

1975

ХЛЕБ

Воистину; не углами
изба и теперь красна,
а хлебом да пирогами,
как в старые времена.

За ужином ли, за чаем
мы хлеб не спеша жуем.
Жуем — и не замечаем,
не ценим: добро живем!

Нас радуют
ширпотреба
изделия по углам...
Но если изба без хлеба —
что эти изделия?!
Хлам!

Буфет, шифоньер, посуда
и ситчики про запас
наш взгляд веселят, покуда
есть хлеб на столе у нас.
Он — есть!
Заварной, подовый...

И вот уже («не свежа»!)
буханка, почти пудовая
с десятого этажа
летит, громыхая, в ящик
за мусором прочим вслед.
И булку бросает мальчик,
швыряет, как будто снег.

И недоросль чей-то сытый,
носясь по улице вскачь,
гоняет засохший ситный,
как будто футбольный мяч.

Ему:

— Перестань, бездельник!
Побойся, балбес, греха! —

А он:

— Не на ваши деньги
купил я его, пахан!

Привет!...—

И попеременно —

то левой, то правой — пас...

Мальчишки поры военной,
услышать хочу от вас.
солдаты,— от вас,

и вдовы,

и сестры,— от вас ответ:

что значит, коль хлеба вдоволь,
что значит, коль хлеба нет?

И, дней тех

черную стаю
припомнив (вам не дано
забыть про войну), я знаю,
вы скажете мне одно:

— Не видело горше небо
картины наверняка,
чем эта: за коркой хлеба
протянутая рука.

И вспомнится вам полоска
в родной своей стороне,
куда собирать колосья
ходили вы по весне;

и ступы; и непременно
мучители жернова;
и горстка муки ячменной —
последняя... И трава:
макуха, крапива, «слезки»...

И — радость тех горьких дней —
с оттаявшей чуть полоски
картошка — земли черней;
с обугленными краями
лепешка — на всех одна...
Воистину, не углами
от века изба красна,
а хлебом — все та же мода...
Цените же хлеб, сыны!
Хлеб — это судьба народа,
хлеб — это судьба страны!

1975

УЕХАЛА ДЕВОЧКА В ГОРОД

С родным распрощавшись простором,
собрав немудрящую кладь,
уехала девочка в город,
как ей ни противилась мать.

Вслед поезду долго глядела
она ни жива ни мертва...
«Да мало ли в городе дела!» —
ей ранили душу слова.

Выходит, для дочки не дело —
и это во первых строках, —
которое с детства горело
в ее материнских руках.

Выходит, нисколько не жаль ей —
и это уже во-вторых —
ни поля, где рожь она жала,
ни троп, ни дорог полевых.

Выходит, не бегать внучатам
босым по траве-мураве...
— Ах, всем хороши вы, девчата,
да ветер у вас в голове!

1975

У ДРУГА

Я пил в жару у друга воду.
Пил из ковша. И, как всегда,
мне показалась слаще меду
обыкновенная вода

из огородного колодца,
на дне которого песок...

— Ну, как живешь?

— Да как придется...

— Надолго ль к нам?

— Да на часок.

И сто подряд других вопросов...
На целом свете — он да я!
И легкий дым от папиросок,
и на двоих одна скамья.

И медный ковшик вместо чарки.
Сад. И колодец посреди...
И очень звонко, очень ярко
и очень празднично в груди!

И позабыто все худое,
и сердце больше не болит...
Ах, черт возьми!
А в чьем-то доме
нас и вино не веселит!

1975

СНИМОК ИЗ ДЕТСТВА

Как дорог он, если взглядеться,
как люб он сегодня душе,
единственный снимок из детства,
совсем потемневший уже.

Ни «фирмы» на нем и ни даты...
Я помню лишь только: в тот день
всем встречным кричали мы с братом:
«Пришел человек с аппаратом!» —
всем встречным из трех деревень.

Какая пошла суматоха,
как все зацвело между тем:
на карточке выглядеть плохо,
«не баско», никто не хотел.

«Не нищие, чать, не уроды!»
И ну принялись ворошить
все, что не успели в те годы
продать, променять, перешить.

«Ах, знать бы такое да ведать!» —
вздыхали: всего было жаль...
И мчались занять у соседа
кто шубу, кто шапку, кто шаль,

кто валенки даже, кто брюки...
Мол, время придет умереть —

не кто-нибудь — дети да внуки
на карточки будут смотреть!

Сходились пока понемногу,
скреблись да взбивали чубы,
фотограф расставил треногу
в заулке, напротив избы.

Два серых прибил одеяла
на стену, поставил скамью
и снял, по согласью, сначала
хозяина дома семью.

Да кума-соседа, да свата...
Но вот, наконец, и на нас
фотограф навел аппарата
пока что зажмуренный глаз.

На нас — это значит на маму,
на братьев моих, на сестру...
Уселись мы мало-помалу
рядком, как грибочки в бору.

Я справа от матери, с краю,
таращусь вовсю в аппарат,
в пальтишке, что дал, вспоминаю,
мне Петька — двоюродный брат.

Оно мне, видать, маловато,
а я голорукий... Зато
пока ни единой заплаты
на Петькином зимнем пальто.

Счастливый, пожалуй, смешон я...
А мать — посредине скамьи —
в своем, не чужом,
отрешенно
круглит голубые свои...

В них — страх:
не мигнуть бы в тот самый
момент да не выйти слепой...
Без шали, головушка мамы
посыпана снежной крупой.

Решила, что шаль ее старит,
платок — и совсем не к лицу.
А карточку, может, отправить
придется — вот ахнет! — отцу.

Вот так и снялась, словно клуша
в кругу желторотых цыплят,
без шали
и в черном из плюша
пальто старомодном до пят.

Она в нем когда-то невестой
гуляла...

На снимок смотрю.
«Спасибо, фотограф безвестный,
за то, что ты в нашу окрестность
в ту зиму забрел!» — говорю.

1975

О ПОГОДЕ

Кто о чем, а деревня опять о погоде:
хлеб еще на корню, а сентябрь на исходе.
Все сказалось: была затяжная весна,
после дождик над полем вставал, как стена.
Лил семь дней. Десять дней. Три недели!
Наливались, тучнели хлеба, а не зрели.
А потом полегли — не распутать чубов...
Что на свете печальней полегших хлебов!
Философствует дед, на прогнозы мастак:
«Это спутники спутали все, мать их так!
Сколько дыр, как взялись, понаделали в небе!
Вот оно и того... и сказалось на хлебе».
Председатель ему: «Ты на спутники зря.
Тут скорей рукотворные наши моря...»
«И моря! — согласился философ, не споря.—
Тучи-т ноне откуда наносит? Все с моря!
Лето, вишь, по зиме,— замечали допрежь.
А зима третий год на нуле — хоть ты режь!
Где-то, слышал я, даже гремели грома...
В январе! Это как? Это разве зима?!
Так чего ж удивляться, что не было лета?
Подтвердилась народная, значит, примета!»
«Подтвердилась...— потер председатель виски.
И на деда: — С тобой умереть от тоски!
Шел бы лучше домой ты...» — добавил, вставая.
Стало слышно, как в бочку вода дождевая
льется с крыши... А дед: «По старинным
приметам
на неделю еще катавасия эта.
Потому как спина — хоть к медичке беги».
И, кряхтя, за порог поволок сапоги.

1975

МОЛОДАЯ ЗИМА

Прежде чем грянуть, она подморозила
грязь на проселках, речушку в логу,
инеем белым дохнула на озими:
дескать, не бойтесь, я вас сберегу...

Бодро прошлась, где вчера сенокосили,
и запечатала крепко,
строга,
теплые запахи лета и осени
в скирды соломы, в ометы, в стога.

В лес заглянула... Бери хоть охапкою
палые листья, вяжи хоть в тюки!
И, недовольная осенью-бабкою,
пораскрывала свои сундуки.

И принялась, молодая, на росстани,
и на поля, и на пожни сама
стлать-расстилать свои белые простыни
новая в доме хозяйка — Зима.

Возле опушек
подушек наделала,
взбила перины... А пух — до небес!
Заяц, во все нарядившийся белое,
бух в ту перину — и нету, исчез!

На ночь
в нее головешками врежутся
тетерева: «Понщи нас, лиса!»
Рада хозяйка: «Не жалко, пусть нежатся».
...В белом — деревни, поля и леса

В белых халатах девчата-доярочки
белое в ведрах несут молоко.
Только лишь стаи вороньи да галочки
черные... В зиму им так нелегко!

К трубам дымящим слетятся и греются:
«Ну-ка, подвинься немножко, кума!»
Не улетают: на что-то надеются...
Да на людей, что укрылись в дома!

Может, чего-то оставят забывчиво
или уронят — вот им и еда...
Птицы — они с человеком уживчивы,
без человека им, птицам, беда.

Вон воробьи на мешки магазинные
сели... Синички на окна косят...
Вон снегири, словно яблоки зимние,
на обмороженных ветках висят.

Им бы не зернышко лучше, а семечко...
Сыщут! У них, брат, свои закрома.
Не золотое, но бодрое времечко —
белая зимушка наша зима!

Как дорога она всякому русскому!
Как, я добавлю, любезна она
детям — на саночках
с горочек
спусками,
взрослым — заботами: скоро весна...

1975

* * *

Лягу под березой на траву,
в тень ее игривую, на спину,
лягу, руки в стороны раскину
и легко подумаю: живу!

Провожу глазами облака,
что плывут куда-то надо мною...
«Есть ты, притяжение земное,
есть!» — само сорвется с языка.

И придет, как в юности, ко мне
ощущенье радости и силы...
Хорошо лежать в моей России
под березой белой. На спине.

1976

В СЕРЕДИНЕ ЛЕТА

Какое было в том году
у лета славное начало!
Ничто хлебам не предвещало
хотя бы малую беду.

Стрижи в бездонной синеве
носились. И шмели басыли.
И благодатно моросили
дожди и путались в траве.

Тогда-то рожь и расцвела!
И, чтобы выглядеть красивей,
взяла себе у неба сини,
у поля зелени взяла.

И в череде погожих дней
она и вправду морем стала:
ей только лодки не хватало
с летящим парусом над ней.

Катя волну на «материк»,
плеща порой через дорогу,—
какую радость хлеборобу
она сулила в этот миг!

Но кинуло в озноб и дрожь
ее однажды в час рассвета:
уже почти в середине лета
побило заморозком рожь.

Особо сильно по низам —
возле реки и вдоль болота.
Стоит — пуста
 без обмолота,
взглянуть — не верится глазам.

Стоит, густая, как стена,
высокая: потонут кони...
А сломишь колос — на ладони
два-три, не более, зерна.

Семян — и тех не соберешь.
В ометы ляжет — выше дома, —
людей не радуя, солома...
Побило заморозком рожь.

1976

ПАМЯТЬ О ВОДЕ

Г. Н. Троепольскому

Бывает: жизнь покажется нам вдруг
дотла сгоревшей в пепельнице спичкой.
Ложь торжествует. Предал лучший друг.
Душою овладело безразличие.
Никто не мил. Все валится из рук.

Мы созерцаем, лежа на спине,
свою, постылой ставшую, квартиру,
и небо равнодушное в окне...
Лежим безмолвны, безучастны к миру,
лежим, как камень в темной глубине.

И, робкая, в нахлынувшей беде,
неуловима, как стихотворенье
забытое («Когда читал? И где?»),
как первый свет над сонною деревней,
в нас вдруг восходит память о воде.

Она полна подробностей: леса,
туман, камыш, лодчонка у причала...
Чуть дальше — каменистая коса...
И всплески рыб... И снова все сначала:
туман... камыш... и чаек голоса.

Сползает с сердца тяжкая плита:
оно доступно вновь любви и вере
и рвется в те заветные места,
где плещется вода о низкий берег,
как стеклышко промытое, чиста.

И пусть мороз лютует за стеной —
лелеем мы в душе мечту простую:
поймать,
с родною свидясь стороной,
уверенности рыбку золотую
и приобщиться к радости земной.

И вот мы у воды. Дымит костер.
Кипит уха над ним. А недалече
чета березок тоненьких лепечет...
И, взяв за плечи, нашу душу лечит
сверкающего озера простор.

И синь в глазах, и блики... О вода!
О ты, земли живительное чудо!
Кто первым в старину пришел сюда,
сил не нашел уже уйти отсюда —
заворожен, остался навсегда!

Он здесь стоял. И час, и два подряд.
Стоял один. Костер дымился рядом...
Здесь жил и умер... Пусть века летят —
но чувствуем мы нашим долгим взглядом
над озером его прощальный взгляд.

Что в нем? Восторг. И радость. И покой.
Благодаренье. Умиротворенье.
И то, чего не выразить строкой...
И перед К р а с о т о ю преклоненье —
простой, но величавою такой.

Нам чудится прищур славянских глаз,
а в них тоска... тоска от неуменья
поведать нам, потомкам, сколько раз
вода ему давала исцеленье,
как исцелила в это утро нас.

КАТЕРИНА

Старая, держась за руку сына
и до безразличия больна,
все-таки приехала она
схоронить золовку, Катерина...

С Маврою — подружкой прежних лет,
в домике, что был не больше бани,
всю-то ночь, печальная, по-бабьи
провздыхала...
Но пришел рассвет.

— Далеко еще до похорон,
ты бы отдохнула, Катерина...—
И тогда, держась за руку сына,
поднялась она и вышла вон.

Сын ей: — На тебе же нет лица,
мама... Не поднимешься ты в гору.—
Даже не пристала к разговору,
лишь вздохнула и сошла с крыльца.

Улочка и впрямь все в гору:
два —
справа, слева — реденьких посада:
кое-где оградка палисада —
дом стоит, а дальше — вновь трава.

Встала на седьмом уже шагу,
ртом хватает воздух, словно рыба:

— Господи, на грудь как будто глыба
навалилась, Мавра... не могу.

Постояла, дух перевела,
к сердцу поприслушалась с опаской:
— А не помнишь, Мавра, как вприпляску
я на эту горочку взошла?

В слабенькой улыбке дрогнул рот:
вспомнила гармошки переборы,
песни, пляску, крики, разговоры,
споры — весь на улице народ.

Жатву вроде справили тогда.
Ну и — все же здорово устали —
собрались гульнуть, столы расставив
прямо на лужайке, у пруда.

Наварили пива — мастера
не перевелись еще в ту пору, —
бабы пирогов пшеничных гору
напекли с утра, на руку скору
всякого настряпали добра.

Пляска, притомившись у пруда,
вдруг переметнулась на дорогу:
там слышнее все же было ногу,
ну, а пыль — подумаеть, беда!

Все плясали славно. А она
будто вихрь кружилась в белом платье!
Бабы: «Ну и выходка у Кати!»
Мужики: «Не Катя — с о т о н а !»

А она, с гармоникой в ладу,
пела, игрока вгоняя в краску:
дескать, под твою игру
вприпляску —
захочу — всю улицу пройду!

«В гору?» — подхватили на лету
мужики. «А что? Могу и в гору!»
«Крой, Катенья! — кто-то подзадорил.—
Я тебе дорожку размету!»

Ахнула гармоника, пьяна.
И пошла, рванув с плеча платочек,
пятками, меж камушков да кочек,
доби выколачивать она.

И мела платком над головой
да еще и сыпала частушки...

...Горбились на улке две старушки,
улке, зарастающей травой.

С виду равнодушны ко всему,
толковали, сделав остановку:
хорошо, мол, убралась золовка:
с ног — и в гроб, не в тягость никому.

И глядели — слезы аж из глаз —
в дали, где пахали и косили,
где дотла растратили все силы,—
грустно, как глядят в последний раз...

1976

ПРОЗРЕНИЕ

Матери

Пришло прозрение в дальнем далеке:
как мало я пожил с тобой, как мало
твою я руку грел в своей руке,
как много задолжал тебе я, мама.

И по своей, и по чужой вине:
мне рано в жизни выпала дорога...
И часто снится, снится часто мне,
что я у твоего стою порога.

Стою и оправдания слова
невнятно бормочу, почти рыдая...
А у тебя, ах, мама, голова
уже совсем, совсем почти седая.

Ты на меня, печальная, в упор
глядишь, не начиная разговора...
О, молчаливый матери укор!
На свете тяжелее нет укора.

«Прости! — я в тишине произношу.—
Прости, что добротой твоей беспечно
дышал я так, как воздухом дышу...
И это, мне казалось, будет вечно.
Но от тебя и дома вдалеке
пришло прозрение все-таки: как мало
твою я руку грел в своей руке,
как много задолжал тебе я, мама!»

1976

ГОРОДСКОЕ УТРО

В эту раннюю пору в своей деревушке
тетка Марья, с утра весела и бодра,
в дом подойник внеся на кружинящей дужке,
выпускала буренку свою со двора.

Обожала она в эту раннюю пору,
что мычит, и бречит, и стреляет бичом,
встретить баб среди улки,
пристать к разговору,
как всегда, к разговору еще ни о чем.
Разве сон кто припомнит...
А больше покуда
ничего не случилось: весь день впереди.

...Нынче Марья с утра перемыла посуду —
гости были вчера — и, боясь разбудить
сына («Поздно улегся»), а пуще невестку,
возле двери бульдога на сворку взяла
и, на лифте

сквозь двадцать площадок
отвесно
пролетев, в вестибюле, на первой, сошла.

Застоялась — из рук вырывает собака
сворку. «Господи! Легче сдержать
жеребца!» —
надсажается Марья, готова заплакать.
А столбам на бульваре не видно конца...

ВЕК ПРОЖИТЬ
(По народным мотивам)

Приставала внучка к бабке с разговором:
«Выходить иль нет мне замуж за Егора?
Любит — вот как!
Не дает нигде проходу.
Говорит, что с моста прыгнет
с камнем в воду,
если завтра не подам ему я руку...»

«Ах, не мучай, внучка, зря меня, старуху! —
отвечала бабка ей скороговоркой.—
Знать, не любишь ты совсем его, Егорку,
коли спрашиваешь, глупая, совета,
не жалеешь!

Это первая примета.
А коль породнишься все ж с его ты домом,
век-то, ой, тебе покажется как долог!

А любимый-то возьмет тебя за ручку...
Боже! — Бабка усадила рядом внучку.—
Так и быть уж, выдам я тебе секретик:
пролетит твой век,
как день,
и не заметишь!»

1976

ОДА ПЕТУХУ

О петух! О Петя! О Петро!
О боец в малиновом беретѣ!
До чего же ты поешь добро,
черт возьми, особо на рассвете!

В голосе твоѣм всегда металл,
а не из графинчика водичка,
чтобы супостаты где-то там
знали, что ты птица, а не птичка!

Песнь твоя проста и коротка.
Но зато твое большое горло
ни единой ноты за века,
фальшьѣю отдающей, не исторгло!

Лишь о том, в чем твердо убежден,
ты поешь — всему известно краю:
«Я не зря со шпорами рожден!
Кто б ни бросил вызов — принимаю!»

И, чтобы соседний слышал двор
песню эту, ты взлетаешь бурно
на телегу или на забор —
на свою высокую трибуну.

Я люблю тебя на городьбе
видеть... До чего же ты хороший
в тот момент, когда ты сам себе
хлопаешь заранее в ладоши.

И кричишь: «Я тут, я на посту!..»
Даже ночью, сидя на насесте,
ту же речь, взрывая темноту,
ты бросаешь недругам — всем вместе!

И не про тебя — ты это знай —
поговорка: мол, прокукарекал,
ну, а там хоть век не рассветай,—
нет, она, увы, про человека.

Ты же, мой певун, трубач, поэт,
знаю, потому и не стыдишься
ночью петь, что веруешь в рассвет
и, как я, проспять его боишься!

В ночь и в полдень бей: «Ку-ка-ре-ку!» —
под высокий свод родной сторонки,
чтоб у тех, кто лежат на боку
царствует, трещали перепонки!

1976

ОДНОМУ ЗНАКОМОМУ

Лучше б кошелек с аккредитивом,
паспорт или ценный матерьял
потерял ты (что ж, не подфартило!) —
ты же — хуже — совесть потерял!

Лучше б, подобру да поздорову,
ты бы пропил мерина с дугой,
а еще вдобавок и корову...
Ты же совесть пропил, дорогой!

И живешь с порожним в сердце местом,
зла не отличая от добра.
И сочится ложью и бесчестьем
черная в душе твоей дыра.

Не прошла тебе потеря даром...
Хоть и хорохоришься, но ты
словно стог осенний без стожара —
нет ни стати и ни высоты:

серая бесформенная куча
с гнилью пополам — не вороши...
Так-то, братец... Совесть — не онуча.
Совесть — становой хребет души!

Без него она, как приبلудь-сучка,
и хвостом виляет, и юлит,
и того, кто дал лизнуть ей ручку,
лежа на спине, благодарит.

Где уж ей до гордости, перхатой!
Все глядит, не бросят ли куска
пожирней
со скатерти богатой,
ждет, зубов припрятавши оскал.

Ждет, подобострастья не скрывая,
ждет, изнемогая от слюны,
хоть кого готовая облаять,
изловчившись, цапнуть за штаны.

1976

КУКУШОНОК

Тихим вешним утром кукушонок,
вылупясь внезапно из яйца,
потянулся сладко,

как спросонок...

Лес зацвинькал: «Ах, какой ребенок!
Богатырь!

Не в мать и не в отца».

«Богатырь»

других птенцов в квартире
потеснил в сторонку без труда
и раскрыл свой рот,
едва ль не шире
самого уютного гнезда.

«Корму! — разнеслось в чашобе.— Корму!»

...Целый день родители в труде.

Сколько ни таскают —

все как в прорву.

«Богатырь» один съедает норму
всех птенцов, ютящихся в гнезде.

Те слабеют, он же — что картина!

Здоровеет!..

И по одному

взваливает «братцев» на хребтину,

подымает и — давай лети, мол...

А куда — известно лишь ему.

Выжил всех. Один остался. Голый...

Гадкий — три ворсинки на спине...

И гремит на все леса и доли

целый день его скрипучий голос:
«Корм — весь мне!
И песни — тоже мне!»
Холят чадо милое пичуги,
ублажают, добрые сердца...
И в недоуменье и в испуге,
мечутся сполошно по округе,
корм раздобывая для птенца.
Оглянулись как-то — он уж в перьях,
а назавтра — он уж на суку.
Крылышки расправил: «А теперь я...»
«Что теперь?!»
«Минуточку терпенья! —
пробасил любимец их.— Теперь я
полечу к родителям...
Ку-ку!»

1976

«ВЕЗЕТ!»

Когда мне говорят, что мне везет,
цедя при том сквозь зубы поздравленье,
я отвечаю: «Нет, на этот счет
есть у меня особенное мненье.

По-вашему:

по долам и лесам
везет мне кто-то что-то под дугою...
Нет, братцы! Воз, назначенный судьбою,
я сам везу... я сам везу... я сам!

Везу, то сунув голову в хомут,
то сзади что есть силы напирая.
За шагом шаг...
Спина моя сырая,
в глазах круги зеленые плывут.

Но никого на помощь не зову:
воз — мой! И на возу моя поклажа!
И я везу, не отдыхая даже,
везу,
покуда жилы не сорву».

«Упрямец!» — вы мне скажете.
О нет.
Увольте от такой высокой чести.
Мне лишь бы не стоял мой воз на месте
да не слетел нечаянно в кювет,

1976

ПАМЯТЬ РОДА

Не пугало средь огорода
и не овца среди овец
ты, Человек...
Ты — память рода
и память крови, наконец.

Тебе
сегодня жить досталось.
Не первый ты.
Но крайний ты.
В тебе всех пращуров усталость
всех предков смелые мечты.

И опыт их, и честь, и слава,
и гордость их, и даже стать...
И у тебя такого права
нет — их могилы растоптать.

И осмеять
в своей гордыне
(а ведь порой смеешься ты!)
все то, что кажется нам ныне
наивным с нашей высоты.

Остановись же, брат...
Помедли
кирпич обрушить в лебеду.
Не первый, но и не последний
ты в человеческом роду.

Почувствуй стык времен плечами.
Ведь ты всего лишь знак кольца
в цепи, которой нет начала
и не предвидится конца!

Не задирай особо круто
свой нос.
А вдруг... А вдруг потом
смешным покажется кому-то
тобой уложенный бетон?!

Снесут его и бросят в груды
потомки где-нибудь во рву
и самого тебя забудут,
как прошлогоднюю траву?!

...Войди в старинные ворота,
на башни глянь и купола.
Здесь шла великая работа,
творились дивные дела.

Здесь
смердами в былое время
по разуменью, не сплеча,
слагалась чудная поэма
из камня да из кирпича.

И эта звонница собора —
ее запевная строка,
а башня — эхо разговора,
что меж собой ведут века.

Сумей расслышать это эхо,
глубинным нервом ощутить,
чтоб, не плутая,
дальше ехать,
чтоб не вслепую дальше плыть.

ПОЭТ

Поведай тайну мне, Природа:
ты, в череде бегущих лет,
зачем кого-то из народа
венчаешь званием — п о э т?

И наделяешь даром скорби
и ликования, любя?..
И мне ответил голос горний:
— Затем, чтоб выразить себя.

Поэт — мой слух. Поэт — мой голос.
Он говорит — я говорю.
Поэт — мой самый спелый колос
из всех, которые творю.

И самый хрупкий и ранимый,
и самый твердый!.. Если ж нет —
ищи ему другое имя —
любое! — это не поэт!

1976

НЕПОКОЙ

Меня с годами все сильнее мучает
сознание, что прожитого дня
и года — тоже, худшего ли, лучшего,—
не будет больше в жизни у меня.

Добро, коль этот день прошел в горении,
которое зовется Н е п о к о й,
и наградил меня стихотворением
или хотя б единственной строкой,

хорошей книгой, радостным прозрением —
прозрение — ведь это тоже вещь! —
бесстрашием и яростным стремлением
взять груз на плечи,
а не сбросить с плеч.

Да мало ль чем?!
И, значит, не напрасно я
в тот день поднялся, чуть забрезжил свет.
И отлились мгновения прекрасные
в дела — не только в дым от сигарет.

И значит, я живу и я наследую
жизнь, до меня звеневшую века...
Я начинаю день свой, как последнюю
монету достаю из кошелька.

1976

ПЕРЕД НОВЫМ ДЕЛОМ

О, не казись раскаяньем напрасно
и не таи на прошлое обид:
что сделано — то нам уж не подвластно,
подвластно то, что сделать предстоит.

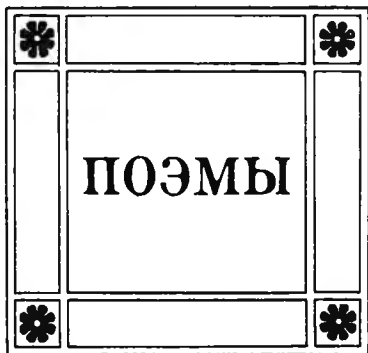
Все — и позор, и стыд, и униженье,
тобою пережитые в свой срок,
прими как дар судьбы, как одолженье,
сумей лишь из всего извлечь урок.

Забудь навек, забудь душой и телом
и что и как с тобою было встарь.
И, обновлен, предстань пред новым делом,
как бог и всемогущий государь.

Лишь от твоих зависит полномочий,
какое будет выжжено тавро
на нем: иль «зло» — чернее черной ночи,
иль светлое, как божий день, «добро».

И разберут дотошно и неспешно
твои потомки в дальнем далеке,
кем был ты в наше время: или пешкой,
иль королем на шахматной доске.

1976



Трудное счастье

Памяти Федора Ивановича Панферова

НЕПОГОЖАЯ НОЧЬ

Полночь.
Спит широкая тайга,
в синие укутана снега.
На бору, подальше от дороги,
чтобы не напал никто на след,
мертвым сном в дымящейся берлоге
спит медведь — тяжелый домосед.

Под крыло
бровей попрятав дужки,
спят в сугробе теплом на опушке
сном настроженным косачи —
черные, как угли из печи.

Белка, разуверившись в земле,
как в высотном доме, спит в дупле.
Дом скрипит, качается немного,
и в одно открытое окно
видно, как плывет своей дорогой
снежных туч седое волокно.

Угрожая теплым южным странам,
холодом арктическим дыша,
вестники надменные бурана —
тучи проплывают не спеша.

Спряталось, укрылось все живое,
чтобы непогоду переждать...
Лишь деревья бурю встретят стоя:
им не скрыться и не убежать!

Ветер, как наездник дикий, ночью
налетит на них и заревет,
обнажит их головы и в клочья
белые одежды разорвет,
заморозит голые суставы...

Но случись, не выдержит одно —
ближнее плечо ему подставит,
и опять подыметься оно,
и опять бороться с ветром будет,
и отступит ветер, с толку сбит...

Тучи. Полночь. Спят леса и люди,
только Анна Павловна не спит.

Разболелись руки к непогоде.
В таз водицы теплой налила,
окунула — легче стало вроде,
потушила лампу и легла.

Сон тревожным был и беспокойным.
Мышь скреблась на кухне. И со злом
била вьюга в переплет оконный
белым обмороженным крылом.

Чудилось: мычал теленок будто;
на крыльце собака грызла кость:
кто-то плакал...

Ветер перепутал
явь и сон, спалось и не спалось.

Встала. Спичку чиркнула: далеко
до рассвета... В горницу прошла.
Там Ленушка — дочь ее — спала,
положивши голову на локоть.

Тихо, словно девочку, бывало,
шубкою, укрыла по плечо,

подоткнула под бок одеяло:
«Дует как, простудится еще...»
На стекло седое подышала:
«Вьюга-то какая нынче, жуть!»
Подвязала туже полушалок:
«Доберусь,— решила,— как-нибудь».

Шла сгибаясь. Ветер бесноватый
рвал из рук фонарик слеповатый.
Тьма качалась. Сапоги тонули.
И снежинки, жаля и горя,
мчались, как светящиеся пули,
в уютном свете фонаря.

Анна терла варежкой щеку,
голову от ветра наклоня...
Было жутко, было одиноко
в этом круге мутного огня.

И совсем не верилось, что где-то,
кроме этих вздыбленных снегов,
есть проспекты, залитые светом,
площади огромных городов
с множеством реклам, авто блестящих
(Анна это видела в кино).
Ветер. Темнота... Но вот маняще
впереди затеплилось окно.
Пес залаял где-то очень близко.
— Шарик, милый! Холодно, поди? —
И шагнула в дверь сторожки низкой,
пропустив собаку впереди.

НА ДВОРЕ

Сторож подбросил в печурку дров,
вымолвил: — Грейся как след, Анюта! —
Сказочный домик тепла, уюта,
словно кораблик, среди снегов.
Так бы сидеть и сидеть,
в упор
глядя на пламя, и слушать ветер,
и позабыть обо всем на свете...
Но Анна встает и идет во двор.

Снегу-то, снегу-то вдоль стены!
С крышею вровень сугроб дымится,
словно громада крутой волны,
готовой обрушиться и разбиться.
Еле протиснулась: замело
тропку вчерашнюю и ворота.
А во дворе хорошо, тепло.
Скинула ватник — и за работу.

Тихо, вполголоса, ей вослед,
словно боясь разбудить соседку,
что-то свое промычала Ветка,
шумно вздохнула Орда в ответ.
Насторожилась, привстав, Река,
ткнулась ноздрями в ладонь Игрушка...

— Глупые, нет ничего пока.
Надо же прежде прибрать в кормушках,
пол хоть немного позамести.—
И позабыла Анна за делом,
что не спала в эту ночь почти,
что к непогоде в руках гудело.
Было сейчас ей не до себя:
печь растопляла, таскала сено
и разговаривала любя
с каждой коровой попеременно.

Пахло сено простором полей.
— Ешьте, забавушки, на здоровье! —
И отвечали коровы ей
на своем языке коровьем.
Кончив, стряхнула труху с платка,
молча прислушалась: вьюга плачет.
И постепенно, издалека,
вспомнила — было совсем иначе.

Сена ни грамма. Соломой шурша,
двор надрывался голодным ревом.
Жалко Анюте: кому корова —
скот лишь, а ей — живая душа!

Думала: только б сошел снежок,
только б проклюнулась в поле травка,

только сердешных бы на лужок
выпустить — там пойдут на поправку.

И дождалась. Потеплело вдруг,
зазеленело мало-помалу.
Вывела Анна Орду на луг,
радости сколько! А та упала...
— Господи, что это?! Вот же, вот
травка-то... Ты ущипни, родная! —
Видит корова, а не встает,
только мычит, тяжело вздыхая,
только тоскливо глядит в прогон...
Анна травы нарвала — не хочет.

Плыл, в коровьих глазах отражен,
облачка

белый как снег комочек.
Радуюсь вешнему, своему,
стая грачей над рощей кричала.
И дела не было никому,
что на лугу корова упала.

Горько одной со своей бедой
было Анюте. Не видя света,
рухнула наземь рядом с Ордой
и зарыдала: — Да что же это?

Много воды утекло с тех пор.
Нынче работать — одна отрада:
корму в достатке, — и двор как двор,
и председатель теперь что надо.
Анна довольна. А все же нет-нет
да и вздохнет, тот день вспоминая...

В окнах поздний вставал рассвет,
и затихала метель ночная.

ВДОВА-СОЛДАТКА

Бывало, вспомнишь за беседой
свой отчий край, свое село —
и вдруг услышишь от соседа:

— Ого, куда вас занесло!
Без вертолета не добраться:
лес да болото, глушь-тоска...
Там кони и теперь боятся
автомобильного гудка.

— А я,— другой добавит,— слышал,
что там медведи дуги гнут.
И летом чуть ли не на крышах
грибы соленые растут!

Да, соглашался я без спора
(пускай простят мне земляки),
есть в наших северных просторах
еще глухие уголки.
Никем не мерены дороги,
никем не хожены леса.
Но есть, но в этом есть, ей-богу,
своя суровая краса!
Мне уголки земли такие
понять Отчизну помогли,
там реки — ленты голубые,
спадающие с плеч Земли.
А камышовые озера —
ее веселые глаза.
Пьянящ там гулкий воздух бора
и ослепительна гроза!
Там над строеньями, над пашней
как волны, катит шум тайга.
Зеленый Шум! Там Русью пахнет,
а Русь кому не дорога!

В глуши такого уголка,
в селе Веселая Поляна,
и родилась под осень Анна,
шестой в семействе мужика.

В тот год пошла из уст Андрона —
солдат брехать не станет зря —
молва, что сброшена корона
с главы «расейского» царя.
И сшиблись радость и тревога
лоб в лоб на сходке у реки,

где чаще Ленина, чем бога,
упоминали мужики.

И годы шли. Росла на воле
девчонка — две косы вразлет,—
росла она, как в чистом поле
трава зеленая растет.
Как мать, за все бралась с охотой,
всему училась до поры,
за клюквой бегала в болото
и за брусникою в боры.
С восьми годов пшеницу жала,
косить помалу начала...
И лишь сама не замечала,
как для того еще мала
была она — совсем девчушка!

А стала пятый класс кончать,
отец сказал: — Ну вот что, Ююшка,
довольно — выучилась, чать.
У нас такого грамотея
во всей родове нет, не вру.—
И Анне батькина затея
пришлась, пожалуй, по нутру.

Ей в поле, в лес — как рыбе в воду:
чем глубже речка, тем вольней!..
И становилась год от году
она все краше да стройней.
Страдали парни из-за Анны!
В ее задумчиво-туманных
глазах, сидящих глубоко,
в бровях, раскинутых легко,
в улыбке, сдержанной и милой
(попробуй сердце сбереги!),
в ее походке что-то было
от нашей северной тайги.

Но вот и юность светлым бором
ушла, гася свои костры.
И вышла Анна замуж скоро
в другой колхоз.

И с той поры
живет она, вдова-солдатка,

с Ленушкой — дочерью родной —
в деревне заболотной Грядка,
в соседстве с милой стороной.

И все, что светлого бывало
с тех пор
и горького до слез,
ее души не миновало,
через нее прошло насквозь.
Когда шумели свадьбы в Грядке,
и снедь валилась со стола,
и вся артель жила в достатке —
и Анна счастлива была!
Когда же кто-то, с земляками
проставшись, дом свой запирает
и к окнам ржавыми гвоздями
крест-накрест доски прибивает,
бросает неубранное поле
и уезжает из Грядки прочь,
те гвозди сердце ей кололи
и день и ночь, и день и ночь.

И все же рук не опускала
в изнеможении она
и молча ношу поднимала,
где впору б трем, — всего одна.
И спорилось любое дело
у ней!
Как грамотный пером,
она уверенно владела
серпом, иглой и топором!
Таскала плуг по перелогам,
полола хлебные поля...

И ей обязана во многом
своим цветением земля!

НОВОСТЬ

Все счастливы в жизни отчасти.
А что оно все-таки — счастье?
Путевка на Черное море
в известный в стране санаторий?

Иль, может быть, выигрыш ценный
на ваш лотерейный билет?
Успех у мужчин непременный?
Квартира московская?
Нет!

Так думает только деляга.
Есть счастье иное: гореть
во имя народного блага
и собственных сил не жалеть!
Вполне сознавать, что нелегко
путь к цели, и все же, устав,
работать, работать, по локоть
в пылу рукава закатав!
Пробиться к победе — и снова
рвануться лицом на рассвет!
Завиднее счастья такого,
красивее — не было, нет!
Оно расправляет вам плечи.
А главное, главное в том,
что людям становится легче
от вашего счастья потом!

..Про Анну твердят неустанно
в деревне не третий ли год,
что все-таки счастлива Анна,
что здорово Анне везет.
Надóит всех больше за сутки —
доярки всю гомонят,
завидуя ей не на шутку:
— У ней не коровы, а клад! —
А премию выдадут — с жаром
толкует опять же народ:
— Подумайте, платье задаром
Анютe-то дали! Везет!

Да вот и сегодня... А впрочем,
сегодня, в разгар многих дел,
огромною радостью общей
завьюженный двор прозвенел.

А было все вот как.
С мороза,
веселый, ввалился во двор

Петров — председатель колхоза —
и начал такой разговор:

— Товарищи, есть новость...—

И встал, прищурив глаз.—

На чашку чаю в область
всех приглашают вас!

— Как так?

— Обыкновенно.

— Смееетесь?

— Не смеюсь.

— А смена?

— Будет смена!

— Кляннитесь же!

— Клянусь.

— Не верится,— сверкают
глазами перед ним,—

замерзнем: даль такая...

— Замерзнуть не дадим!

Чтоб вас в пути-дороге
от стужи убережь,

я самых быстроногих
велю коней запречь.

Но, чур! О деле если

там разговор пойдет,

вы не роняйте чести!

Мол, не стоим на месте,

а движемся вперед!

Других желаний нету.

Мол, если б не война...

И рассказать об этом
ты, Павловна, должна.

СТАРЫЙ ЧЕМОДАН

Ленушке было не до сна:

впервой без матери, одна,

ушла на двор Ленушка.

Тепла еще возле окна

помятая подушка.

Достала Анна чемодан,

что сделал муж еще, Иван.

На стол поставила.
Рукой
пыль, позабывшись, стерла.
И острой вдовьею тоской
сдавило снова горло.

Стар чемодан, а жив пока.
И все как есть на месте:
и эта дужка для замка,
и уголки из жести,
и подпись краской голубой —
три буквы в ряд и дата.
Не взял Иван его с собой:
мол, ни к чему солдатам
багаж фанерный на войне,
не в гости едем к теще.
— Подай-ка, Анна, лучше мне
мешок, какой попроще.

Накинул ляжку на плечо
и, словно был виновен,
сказал: — Увидимся еще...—
И смолк на полуслове.

Потом она с ним рядом шла.
Скрипел возок уныло.
И долго-долго не могла
проститься: страшно было.
И все ж настал тот миг.
Вокруг
цвело, звенело, пело.
Благоухал, не скошен, луг,
рожь, наливаясь, спела...

И он вздохнул. И закатал
до локтя белый ситец.
И прохрипел — не прошептал —
сквозь зубы: — Погодите ж!
Вы нам заплатите за все!
За все! Ступай, Анюта...—
И обнял, тихую, ее
и отвернулся круто,
тряхнув чубатой головой...

И вот сейчас с портрета
глядит он, как глядел живой
в то памятное лето.
Глядит и словно шепчет ей:
«Прости меня, отрада,
за боль и слезы вдовьих дней
и не тоскуй, не надо.
И рану в сердце не тревожь
воспоминаньем жгучим.
Ты, в общем, правильно живешь,
как жить должно живущим.
И если б вдруг сейчас домой
я чудом заявился,
как сущей правдою,
тобой
перед людьми б гордился».

Часы пробили в тишине,
шипя пружиной ржавой.
Очнулась Анна: свет в окне.
«Ведь собираться надо мне!
И что со мною, право?»

Припасы, платье в чемодан
сложила поскорее,
за шалью сбегала в чулан,
обулась потеплее
и, как заведено давно,
присела на минуту.
И тут услышала в окно:
— Поехали, Анюта!

ДОРОГА

Вскинув голову рискованно,
левым глазом к седоку,
стучает копытом кованым
жеребец по передку.

Взад-вперед ушами шастая,
настороженно храпя,
он играючи грабастает
путь-дорогу под себя.

И швыряет снег спрессованный
в сани, гриву распластав.
Весь как будто нарисованный —
от ноздрей и до хвоста.

Прячутся от ветра встречного
за спиною старика
две подруженьки сердечные,
разрумянившись слегка.

А старик, хоть с виду слабенький,
натянув вожжу к плечу,
им кричит: — Держитесь, бабоньки,
как на свадьбе, прокачу!

Через поле краем озими
правит он: — Ходи, дружок! —
Взрезан тонкими полозьями,
мягкий вьюжится снежок.

Под крутой дугой, губатая,
пляшет морда жеребца.
И под стеганую ватю
бабьи екают сердца.

Страшно им и любо-дорого!
Поле. Снег. Белым-бело...
— Не замерзла ли, Егоровна?
— Что ты, Павловна, тепло!

В санках крепкий запах клевера.
Словно башни, вдоль пути
встали ели — стражи Севера.
Каждой по сто лет, поди.

Хорошо в санях под сенью их
прокатиться с ветерком!
Ведь в распутицу осеннюю
тут с трудом пройдешь пешком.

Даже в пору сенокосную
через эти вот леса
не дороженька колесная,
а препятствий полоса.

Пролегла она округою
до райцентра, всем нужна,
тыщу раз мужицкой руганью
выслана, замощена.

Но зато зимою, узкая,
белоснежная, она
вся отрада сердцу русскому,
и надежна и ровна!

Пухом стелется дороженька.
В уголок уткнись плечом —
вспоминай о том, что прожито,
коли вспомнить есть о чем...

ВОСПОМИНАНИЯ

— Гей вы, ну ли! — И вдоль посада
кони ринулись, не унять.
Сани кованые, что надо.
Дуги крашенные — на ять!
А на дугах — «скупиться неча!» —
ленты шелковые кипят.
Звон бубенчиков, блеск уздечек,
суматошный галдеж ребят.

Встречный ветер до боли жалит,
ветер жжет лицо без огня.
В шубах, в валенках, в толстых шалях
чуть подвыпившая родня.
А жених — ни к чему и шуба! —
словно в жаркий день во саду,
знай целует невесту в губы
у всего села на виду.
Обнимает ее, бесстыжий:
«Пусть завидуют, пусть глядят!»

Алым мехом да чубом рыжим
гармонист ослепил девчат.

Деревенские бабы чешут
от безделия языки:
— Ну и парень же, ну и леший!

Вот как женятся нонь сынки.
Ни венца, ни божьего страху:
полюбилась — и покати.
Эку, гляньте, повез деваху,
эку умницу окрутил!
Проворонили, проглядели
Нюшку наши-то молодцы...

Анна Павловна! Неужели
это было?

И бубенцы
пели, белые от мороза,
над тобою —
слезу утри —
от «Звезды» — твоего колхоза —
и до самой его «Зари»?

Было! Так же ушами прядал
на бегу жеребец шальной.
И сидел, улыбаясь, рядом
тот, который тебя отрадой
звал пока лишь, а не женой.

Как ты, Анна, его любила!
Взгляд отчаянный, чуб черен.
Очень много красивых было
на селе, да не так, как он!

Все дивились, как рядом шли вы,
замечали за полверсты.
Много было девчат счастливых
на селе, да не так, как ты!

Тетки пели тебе: — Обиду
зря родителям не чини.
Пореви хоть чуть-чуть для виду,
буйну голову наклони!

Ты не спорила, нет. Однако
не могла реветь все равно.
Разве могут глаза заплакать,
если сердце счастья полно!

Без оглядки, легко и смело,
перешла ты чужой порог

в платье свадебном, в платье белом,
и смеялась потом, и пела,
и плясала, не чуя ног!

Не могла ты знать и не знала,
каблуками стуча дробней,
что у вашего счастья мало,
очень мало в запасе дней.

Что вам горе несет обоим
грозовой сорок первый год,
что лежит уж давно в обойме
пуля та, что его убьет.
Что война уже на пороге...
(И добро, что нам не дано
знать, с какою бедой в дороге
завтра встретиться суждено.)

Отметелила в поле вьюга.
И опять загудел колхоз
отшлифованной сталью плуга,
сталью гусениц и колес.
Пахло лето здоровым потом,
стружкой, скошенной травой.
По земле ходила Работа
с гордо поднятой головой!
Многорукая — еще дома
были парни и мужики.
Развеселая — еще вдовам
не носил почтальон листки
с черной рамкой...

Ты помнишь, Анна
(память та тебе дорога),
как вставали вы раным-рано,
молодые, и шли в луга;
как свистели, росой омыты,
косы ваши... И как потом
первый, общим трудом добытый,
хлеб насущный вносили в дом?

Силой хвастая молодою,
ставил муж мешок «на попа»,
брал и нес его пред собою,
шаг нарочно не торопя.

Руки мужа! Они носили
и тебя. И в кольце тех рук
очень маленькой и бессильной
становилась ты, Анна, вдруг.

Эти руки могли бы гору
с места сдвинуть!
Все было в них:
ласка добрая, и опора,
и защита от бед лихих.
И когда их не стало,
сразу
там, где трудно было двоим,
дело всякое без отказа
стали делать руки твои.

Ох, как ныли они! А ночью
непослушным карандашом
выводили кривые строчки:
«Милый, я живу хорошо.
Ты не думай...» А на подворье
сорок дел и во всем нужда.
Хватит, память!.. Хлебнули горя
полной чашею все тогда...

Ну-ка, дед, натяни поводья!
Ты лети, вороной, лети!
Сколько солнца в тайге сегодня,
Анна Павловна, погляди!

Ели плавятся, словно свечи,
сосны вскинули шапки ввысь.
Ветер резче ударил в плечи...
— Эй, прохожий, поберегись!

В ГОСТЯХ

Приехала в город Анна
с Егоровной дотемна.
И вот уж гостьей желанной
сидит за столом она
на этаже четвертом
и чай густой первосортный,

хозяину внемля, пьет.
(«Сбылся ведь разговор-то!
Петров никогда не врет».)

Не знает чему, а рада.
Положит кусочек в рот
искристого рафинада,
подует и прихлебнет.

— Ты, Павловна, бы внакладку...
— Ой, что вы! — она в ответ. —
Внакладку-то и не сладко,
да и привычки нет.

Протяжно и незнакомо
под самые облака
взлетел и поплыл над домом
рабочий басок гудка.
Хозяин кивнул на стену
и с гордостью: — Наш поет.
Торопит ночную смену.
Нельзя без того — завод!

Завод! — И вздохнул глубоко,
И вновь повторил: — Завод! —
Как много сейчас бы мог он
припомнить!.. И тот далекий
индустриальный год,
когда здесь сошлись ребята
и, споря со стариной,
скрестили кирку с лопатой
над сонною тишиной.

И бросили первый камень
в фундамент, чтоб встал завод
за городом, где веками
сочилась печаль болот.

А было-то что — не враки:
хлеб кое-какой, не торт,
да вонь, да гармонь в бараке,
да обувь — последний сорт,
изношенная до дырок,
да тачки, да фонари,

да песенка: «Пять — в четыре!»,
в четыре — и хоть умри.
В четыре! Даешь, коль надо!
За совесть, а не за страх
долбили землю бригады,
стеклили окна в цехах.
И ширился, беспокоя
округу, железный гуд.

Нельзя позабыть такое:
под сердцем оно, вот тут.
И только обидно малость,
что годы прошли... что вдруг
виски побелила старость,
украли силу из рук.
Мол, хватит, дружок, попрыгал!
А тут и друзья одно:
«Езжай-ка на берег Крыма,
пора тебе, брат, давно».

Павловна, блюдце с чаем
поставив, взметнула взгляд:
— И ехал бы без печали,
родимый, коль говорят!

— Да я бы не против вроде.
И пенсия хороша.
Да вздумаешь о заводе —
и так заболит душа,
что места себе не сыщешь!
Попробуй-ка тут уйди.
На что мне, Павловна, тыща,
коль пусто вот тут, в груди.

Твердит про завод хозяин.
У Анны ж перед глазами
кормушки, полны кормов,
тугие бока коров
да маленькие телята —
потешные сосунки,
что тычутся глуповато
в ладонь ее узловатой,
большой, неженской руки.
Ей вспомнился весь коровник

с соломою у ворот —
приземистый и огромный,
мычащий ее «завод».

И в сердце гулом забота:
«И как там дома, и что там?
Ведь дочь-то невелика.
Хоть по сердцу ей работа,
да хватка не та пока.
Да и смела не больно...»

А ей хозяйин, любя:
— Да полно, Павловна, полно
напрасно томить себя!
Не за моря да горы ведь
умчалась!
Не вешай голову,
хозяина не печаль.

— Не знаете вы, Егорович,
разбойниц моих, а жаль.
У каждой свои повадки,
обиды свои — беда!
Бывает, не в том порядке
начнешь доить иногда,
а то пропустишь какую:
мол, стой, провинилась раз!
Ого, как губы надует,
ого, как нахмурит глаз!

— Не любят критику тоже?
— Да как еще! Вот с Ордой
порой обойдешься строже —
и сразу сбавит удой.
А сильная — что те лошадь!
Хоть землю на ней паши!

Хозяин у нас хороший,
скажу я вам от души.
Когда бы не он... Да что там!
Совсем другое житье.
В столице самой работал.
Не очень было охота,
поди-ка, бросать ее.

И мы, когда избирали,
не верили: убежит.
Болота, леса. Едва ли
останется, мол, пожить.
И ясно, что без почета
встречали — не до того.
Десятым, поди, по счету
поставили мы его.
С чего начинать, мол, станем?
«Начнем,— говорит,— с коров,
поправим крыши дворов,
разбитые стекла вставим,
корма подвезем...»
И верно:
бывало, чуть рассветет —
а он, раностай, на ферму,
посмотришь, уже идет.
Расспросит: и чем кормили
коров-то (а корм худой),
и досыта ли поили
и теплою ли водой?

Стараемся, как уж можем,
бывало, мы перед ним.
Едим, что в карман положим,
а спим... да почти не спим.
В домах холодина — печи
не топлены... Ну, а он
про то не заводит речи,
все больше про рацион.
И я не снесла обиды:
мол, вы, товарищ Петров,
спросили хотя б для вида
про нас, а не про коров.
Пора бы: прошло полгода
(в горячке-то я крута),
мол, скот-то ведь для народа,
а не народ для скота!
Зима, мол, опять приспела,
а в доме ни чурбака.
Сказала — и пожалела:
обидела мужика.
Рассердится, мыслю, либо...

А он помолчал, вздохнул.
«Ну что же,— сказал,—
спасибо!» —
и руку мне протянул.
«За что?» — говорю.
Хохочет:
«За ваш хороший урок!»

А вечером Клим Орочев,
гляжу, мне дров приволок.
«Пеки, Анюта, оладьи! —
сказал.— Дрова на подбор!»

Негромкий, степенный, ладный,
люб Аннушке разговор.
Забывчиво теребила
она свой платок в кистях...
Как дома, легко ей было,
и радостно, как в гостях.

НА ТРИБУНЕ

День был бел, и пушист, и тих...
Запахнувшись в шубы овчинные,
из автобусов городских
выходили доярки чинные.
Лился сдержанный говорок:
робость всеми покуда правила...

Анна Павловна за порог
ногу только лишь переставила —
в сорок труб оркестр заиграл,
засверкала медь ослепительно.
Вправо глянула — генерал
поклонился ей уважительно.
Удивилась... А тот сквозь шум,
дав понять, что ее касается:
— Раздевайтесь,— сказал,— прошу.
Вы сегодня наш гость, красавица!

— Что ж,— ответила,— гость так гость! —
рассмеявшись легко и весело.

И шубейку свою на гвоздь
в первый раз не сама повесила.

Причесалась (коса пучком),
застегнула полу жакетную
и с Егоровною рядом
поплыла по ледку паркетному.

Нет, не треснул он от того,
что не туфли, легки и маленькие,
вдруг обрушились на него,
а подшитые дратвой валенки.

Не померкли люстр огоньки,
хоть они такого не помнили,
чтобы ситцевые платки
до отказа ряды заполнили.

Зал зевотою не свело
от того, что сердца горячие
про коров, округляя «о»,
без смущенья в рядах судачили.

Зал сверкал, рокотал, гудел!
Был красив он красой особою
рук, потрескавшихся от дел,
губ, помадой не подрисованных.

Алым светом со сцены в зал
кумачовое било зарево...
Нет, ошибся ты, генерал,
здесь не гости сошлись —
хозяйева!

Взмыл, как жаворонок стальной,
колокольчик, и над трибуною,
над внимательной тишиной,
молодая, почти что юная,
встала девушка... А за ней,
орденами двумя увенчана,
щурясь весело от огней,
поднялась пожилая женщина.

Зал узнал ее.
Как обвал,

грянул в зале оваций вал
от трибуны до входа главного...
Стих — и кто-то уже назвал
имя Анны.
И встала Павловна.

Встала Павловна и пошла
по ковровой тропинке в валенках.
И хоть маленькой не была,
но глазами зал обвела —
стала сразу маленькой-маленькой.

И забыла, с чего начать
сбиралась с трибуны речь она.
Вот работала... А сказать,
а сказать, выходило, нечего.

Ах ты, горе!.. А зал притих.
И совсем не думая, кстати ли,
помянула подруг своих,
рассказала о председателе.
И еще, теребя платок,
цифры выпалила назубок —
и замолкла...

А зал в ответ
бросил гром молодой на плечи ей.

Выше голову, Анна-свет,
дело вовсе не в красноречии!
Что тебе словес мишура!
Пусть уж в этом хитром занятии
упражняются мастера —
записные речетолкатели.

Речь твоя — это ты сама,
в деле скорая, в горе твердая,
в честном споре всегда пряма,
в одиночестве вдовьем — гордая!

Речь твоя — твой нелегкий труд,
не записана, не размножена.
Но века ее не сотрут!
Но такая она дороже нам!



Конек на крыше



1

Из кондовых бревен изба,
изба — по карнизу резьба,
и конь деревянный на крыше
с подрезанной челкой у лба.

Точеная шея — дугой.
И прахом земля под ногой!
Свистит в наостреннeе уши
разбойничьи ветер тугой.

Два ската — два черных крыла,
размах — от угла до угла...
О нет, не стоит он на месте —
летит, закусив удила!

Взвалив на бока облака,
он смотрит на все свысока,
как идол крестьянской удачи —
и вера, и бог мужика.

А в поле широком — весна...
Но былей недобрых полна
его деревянная память —
крепка и доньне она!

Он помнит — минули года —
горячее слово «с т р а д а».
Одни лишь копыта не в мыле
и были, пожалуй, тогда.

Он помнит гульбу бороны
на нивах родной стороны,
и сошки мужицкой упрямяство,
и ярость ременной струны.

Она обжигала огнем...
Шел, горбясь, мужик за конем,
срывая тяжелую злобу
за все неудачи на нем.

Он целил удары хитро,
чтоб боль доставала нутро...
Но лиха подолгу не помнил
коняга—
он помнил добро!

И то, как овес он жевал
из торбы, когда уставал,
как клевер — не то что корове! —
хозяин ему задавал.

Как шубу ему, меринку,
бросал он, свернув к кабаку...
И верною службой за это
платил он сполна мужику.

Случалось — нет, это не вздор,
да молодцу быть — не укор! —
его привозил он с базара
чуть теплого только во двор.

А как горячил он умы
на празднике русской зимы!
Нет, девки визжали недаром,
когда его грива пожаром
пылала на две стороны!

А как он под звон бубенца
катил молодых от венца!

Казалось, вот-вот разорвутся
от быстрого бега сердца!

Зеваки с обеих сторон
сбегались, слышавши звон...

Но помнил, но знал он, коняга,
и грусть неторопкого шага
до кладбища в день похорон.

То в сани, то в бричку впряжен,
на всякое дело — все он.
Крестьянское благополучье
держалось на нем испокон.

2

Как жить мужику без коня?..
Случался пожар — из огня
коня выручал он,
от страха
себя лишь рукой заслоня.

И даже тогда — не соврем, —
когда все постройки огнем
сметало, он духом не падал!
Ведь конь оставался при нем!

И, вечные правя труды,
не знал он страшнее беды,
чем та, что его заставляла
коня продавать от нужды.

И все же не раз меринку
случалось на долгом веку
идти за чужою телегой
на торг по пути к городку.

И там — он не знал почему —
цыгане в сивушном дыму
его выводили на пытку
и в зубы глядели ему.

Гор. ланили: — Кляча, не конь! —
И били в мужичью ладонь
с размаху, как будто хотели
из каменной
высечь огонь!

И падала к черту цена!
И дыбилась горя стена...
В руках,
ослабевших внезапно,
узда оставалась одна.

Размазав слезу по щеке,
бедняга с уздой на руке
до риз положения после,
горюя, кутил в кабаке.

Желая хотя бы на миг
забыться («Душа — не голик!»),
нейстово, как на поминках,
кутил безлошадный мужик.

А сердце стучало ему:
«Готовь ребятишкам суму!»
И не было, не было дела
до горя его никому.

3

Скупа, но отравно горька
и жгуча слеза мужика.
И если он плачет, то значит,
беда у него велика.

В тот вечер был сильный мороз.
Конь хрупал из торбы овес,
не зная еще, что хозяин
его записался в колхоз,

что должен он завтра с утра
(лихая настала пора)
кормильца его и поильца
с телегой свести со двора.

И сбрую, и сено отдать
в колхоз и — легко лишь сказать —
уже не с в о и м вороного,
а н а ш и м
впервые назвать.

Лишь за полночь кончился сход.
Конь слышал, как тонал народ
по улке,
как в избу хозяин
вошел, постояв у ворот.

Как баба затеяла спор
(она не спала до сих пор),
как хлопнул хозяин дверями
и вышел с коптилкой во двор.

Охапку сенца приволок,
откинул навоз из-под ног...
Утробным и сдержанным ржаньем
ответил ему меринок.

Похлопал по шее слегка:
ешь вволю, мол, дома пока...
Сомненье и жалость, как тучи,
клубились в душе мужика.

Как знать ему было тогда,
что эта беда — не беда,
что общим мужицким усильям
скорей покорится нужда?

Что нет основания тужить?..
Но в нем продолжала кружить
кровь прадедов наших,
привыкших
всегда на особинку жить:

пусть худо, пусть даже бедно,
но помня присловье одно
о том, что «своя-де рогожа
соседовой рожии дороже»,
как сказано было давно.

И если — пусть день тот далек —
он все же сдержаться не смог,
заплакал, кто нынче посмеет
те слезы поставить в упрек?!

В них, в этих слезах мужика,
не видимых издалека,
не слабость, а мужество было,
да, мужество! Наверняка!

Еще не сдавалась родня,
зверевшая день ото дня,
и трактора не было слышно —
железного брата коня.

Еще не заложен в тот год
был ныне известный завод,
завод, что теперь для деревни
комбайны да жатки кует.

Еще сквозь событий метель
чуть виделась гордая цель, —
мужик таки, плюнув, решился
и руку поднял за артель!

И замер... И дрожь по спине...
И в той грозовой тишине
начало конца этой песни
о добром мужицком коне.

4

Год ми́нул потом. И другой.
Раз как-то
шел конь под дугой,
а трактор навстречу под флагом
катил, окружен мелюзгой.

Кричали мальчишки: — Смотри! —
А он исторгал изнутри
чудовищный грохот и дымом
стрелял из железной ноздри.

Шел, в землю вонзая шипы...
И встал, захрапев, на дыбы
коняга и с возом с дороги
метнулся, теряя снопы.

Был встречею он потрясен!
А возчик, махнув на урон,
коня привязал к огороду
и — марш за машиной вдогон!

Низиной, вода не вода,
бежал напрямик, борода,
взглянуть со сторонки на чудо.
Да, чудом был трактор тогда!

Железный сородич коня,
он вышел на поле, звеня,
и вытянул борозду следом
в четыре широких ремня.

И ахнул мужик:
«Чудеса!»
И два с половиной часа
ходил, позабыв о коняге,
за трактором, близ колеса...

5

Давно ль это было?!
Вчера....
И вот уж иная пора.
В любой деревушке, как кони,
хозяйственно ржут трактора.

И все же в краю молодом
и ныне отстроенный дом
венчают коньком деревянным —
есть что-то сердечное в том.

Он, конь, разделил до конца
(порукой в том — предков сердца)
и пахаря горькую долю,
и ратную службу бойца!

На дымных проселках веков
немало стоптал он подков
и вытянул, вывез Россию,
Россию — страну мужиков —
из тьмы,
из болота нужды
на свет пятикрылой звезды.
И стерли моторы на нивах
его вековые следы.

Не молкнет теперь ни на час
в полях металлический лязг...
Все верно: и то, что машина
удобнее, чем тарантас;

и то, что недолго теперь
осталось телеге скрипеть...
И все-таки рано сегодня
коняге отходную петь,

твердить про колбасный завод...
Нет, он еще, конь, поживет!
Не только работника — друга
и радость в нем видит народ!

— Гей, милый! — И ветер в ушах...
Дорога, как песнь, хороша!..
Машина есть все же машина,
а конь — он живая душа.

И коваль, в работе горазд,
ему еще сменит не раз
подковы... И русская тройка
галопом размашисто-бойким
потешит, потомки, и вас!



Окнами на зарю



Памяти отца — земляшца и солдата

I

Нет, не форточку, раму бы высадить впору —
вот какая в квартире теперь духота!
Собирайся, сынок! И поедем за город,
навестим наконец-то родные места.
Собирайся! В рюкзак —

только блесны да ножик...
Масло? К черту его! Колбаса? Не нужна!
Есть корова у тетки. И если поможем
ей поставить стожок, не обидит она.

И пожалуйста, мать, не держи человека.
Пусть поедет! Пора ему знать наконец,
что заглавной фигурой у хлеба не пекарь,
не короной увенчанный продавец.
Ну, а кто — мы о том потолкуем особо...
А сейчас проводи-ка мужчин за порог.

Два билета!
И мчит нас бывалый автобус,
так сказать, с ветерком за речной поворот!
Низко стелются травы. Штормует дорога.
Мельтешат на щитках — только глянешь

В ОКНО —

разноцветные цифры... А мало ли, много
означают те цифры — понять мудрено...
Да к тому же пылит, пролетая, машина.
Но гляжу я, гляжу...
Мне все кажется: вот
перелесок проскочим, а там —
«До Берлина
сорок пять километров осталось. Вперед!».
Сорок пять до Победы... А сколько же,
трудных,
позади их осталось! Считай — не сочтешь.
Сколько раз поднималась и падала грудью
на горячую землю высокая рожь!

Нет, дорога в деревню —
не к тылу дорога.
Нет, деревня сегодня — не тишь да покой.
Как от дота до дота, от стога до стога
здесь бескровный, но яростный катится бой!
Из атаки в атаку — не падают, держатся
косари. Раскален добела небосклон.

Бой победно гремит! Возвращаются беженцы
и срывают прогнившие доски с окон.

И стучат молотки здесь у каждого дома,
и моторы дымят, и в ходу топоры...
Вот что значит деревня!
А вы мне: солома,
да коровы еще, да еще комары...

Здесь в безмолвных озерах свирепствуют щуки,
обжирается спелой малиной медведь.

Взять корзину бы в руки! Но заняты руки:
осыпается рожь. И пшеница как медь.
И «скрипит», припотев, допотопная бабка
на льняной полосе. Как-никак, человек...
Вот что значит деревня!
А вы мне: рыбалка,
да с малиною чай, да на сене ночлег...

Здесь по три да четыре избы на посадке,
здесь по десять девчонок на парня
в бригаде.

Здесь проблема разлуки да скуки сейчас
есть одна из великих проблем для девчат.
И не диво. До клуба порой от избушки
не дострелишь из пушки: и лес и ручей...
Вот что значит деревня!
А вы мне: частушки,
да любовные вздохи, да скрип дергачей...

Нету старой деревни! Кого нам обманывать?
Моргунка тоже нет. Уработался. Спит.
Нет! И строит деревня сегодня
все заново:
избы, клубы, дворы, психологию, быт.

Эта стройка невидная —
жметя к лесам она,—
но великая тоже! А может, в ряду
тех, великих, она
есть в е л и к а я самая!
Понимаете, что я имею в виду?

И нужны ей сегодня не только прорабы,
да проекты, да планы — ей руки нужны,
чтоб заделать хотя бы... вот эти ухабы —
вот такой ширины, вот такой глубины.

Руки, да! Молодые притом и влюбленные
в эту стройку.
Взгляни — ты в деревне не гость:
вот она, вся, как есть, золотая, зеленая,
вся пропахшая стружкой смолистой насквозь!

Это стройка, скажу я вам! Это картина!
А простор-то какой! Даже робость берет.
Мачты полем шагают. Бушует плотина.
Белым прочерком в небе над ней самолет.
Высоко-высоко! Старичок на подводе
бороденку задрал, приподнял козырек...
— Эй, шофер, тормози! Мы приехали вроде.
Вот черемуха наша... и дом наш, сынок.

В этом доме я знал все на память, на ощупь:
 кухня, сени, четыре ступеньки крыльца...
 Скинь-ка шапку, малыш мой!
 Ты видишь воочью,
 так сказать, родовое поместье отца.

Ни кола ни двора. Лопухи да крапива.
 Сядь на этот вот холмик — тут печка была.
 А вот тут, от крыльца, начиналась тропинка,
 та, что первый мой шаг на себя приняла.
 Сядь. Мне многое надо припомнить...
 Не весь он,
 пепел, что под ногами, остыл.
 Хоть не раз
 здесь метели гудели и дождь куролесил,—
 не остыл, не развеялся он, не погас.
 До скончания века он — пепел тот — с нами...

Что же вспомнить сейчас, что тебе рассказать?
 ...Утро в нашей избе начиналось блинами.
 С пылу — прямо на стол! Успевай подбирать!
 Мама рада была, коль мы ели в охоту:
 — Каковы на еду, таковы на работу!

Понимала, что нам не руками махать
 изготована доля, а землю пахать.

И уже приучала.
 Впервые бороздку
 проложил я, наверное, лет десяти.
 В тот же год я имел уже косу по росту,
 не сбиваясь, умел в пять цепов молотить.

Топотали цепи на снопах, как по нотам.
 Улыбался отец, наставляя сына:
 — Коли взялся работать, работай до пота,
 а без пота работать — валять дурака! —
 Мол, земля лежебоку зазря не одарит,
 мол, ее не обманешь ты, как ни умни.
 — И пеняй на себя, коли пусто в амбаре! —
 ударяя цепом, приговаривал он.

Ну, и верно: работал он с пылом и жаром,
то косою махая, то плуг волоча.

И недаром, икон поубавив, недаром
прилепил он к простенку портрет Ильича.
Посветлело в душе.

Были праздником будни.

А в селе про колхозы ходили слушки.

Да не верил: мол, это когда еще будет,
а сейчас надо сеять да жать, мужики.

Он из тех был, отец мой, кто знал себе цену,
кто в удаче на свой лишь хребет уповал.

Летом дом подрубил —

вставил в каждую стену

по четыре бревна,

перекрыл сеновал,

хлев приделал к двору, а потом у дороги
начал строить овин...

А ему нет да нет:

— Понапрасну, старатель, мол, силушку

гровишь,

все колхозное будет! — пророчил сосед.

— Что ж, — отвечивал, — начал — так надо

поставить.

А колхоз... Поглядим! Коли дело пойдет,

я, как старый журавль, не отстану от стаи...

— Ну, готовься тогда. Недалек перелет!

И сбывалось пророчество, было похоже.

Наезжал из райцентра Кирюха-матрос,

приходила газета, и та все про то же

толковала деревне моей — про колхоз.

Повторяла одно через каждую строчку:

не уйти мужикам от нужды в одиночку.

Сами знали, что так. Понимали, что надо,

а решиться... Поди-ка решишь. Маета!

Там, где сам передом, — баба глупая задом...

Все ж осмелились!

Первой пошла беднота.

Добровольно! На страх мироеду Хмырову!

Вот она, революция! Хлеб закопал

толстосум, подпалил самолично хоромы,

постонал: подожгли, мол, его... И пропал.

А в деревне — нужна стопроцентная сводка —
за полночную сходкою новая сходка.
Поначалу без баб — так велось искони, —
а потом, чуть прослышат, бегут и они.
Соберутся — потеха! Что крику! Что реву!
А о чем — не опишешь сегодня пером.

Жалко было коня, жалко было корову,
и саней было жаль — хоть руби топором!
Как же вынести было, к примеру, такое:
запряжет кто-нибудь не спрося — и айда!
Ведь мужик — скопидом. Он по-своему скроен.
Но о том ли печалиться было тогда?!

Кто-то вслух:

— Не распаривши, дуги-то гнете.
И вообще мы не против... а все ж подождем. —
Но Кирюха-матрос —
 он учился на флоте
«уговаривать» контру — стоял на своем.

Сто процентов — и ша! И смолкали, как рыбы,
мужички на скамьях.
«Агитацию» ту
после стали уже называть «перегиоом».
А тогда, брат, она подводила черту
всем дебатам.

И бычились пахари лбами
в темных избах и жгли до рассвета табак.
Непростая задача: минуя предбанник,
прямо в баню попасть. Было все-таки так.

3

Председателем первым избрали Степана.
Безлошадника. Страсть был какой боевой!
Вел дела неказисто. Зато неустанно
раздувал на планете «пожар мировой».
Говорун был, частоха! Начнет о навозе,
а закончит пожаром... Аж горло сорвет.
Грамотеев-то было не густо в колхозе,
и народ, — что поделаець — слушал народ.

Как-никак, голова! Первый в доме хозяин.
Мужики ко всему относились всерьез.

А работали как! На миру-то нельзя ведь
осрамиться...

Бывало, придет сенокос —
стар и мал на лугах. Позабыты постели.
Бабы, как на гульбе,—

сарафаны пестры.

И звенели малиновым звоном, звенели
наостренные косы, дымилась костры.
Упревала артельная каша на ужин.
И ребята — просторно у них в шалаше —
на сенце молодом целовали подружек.
Жизнь такая ребятам была по душе.

Да и старшим, пожалуй...

Все было в новинку.

Отличился — почет, худо сделал — позор.
В стенгазете, бывало, такую картинку
поместят, словно выстрелят в совесть, в упор!
Новь свои утверждала в деревне законы.
Нету рая на небе — и в щепки иконы!
Неучение — тьма, а учение — свет,
и за партой рядком с молодайками — дед!
И открыты детясли — работайте, жинки!
И всем праздникам праздник отныне —
дожинки.

Пир как есть на весь мир!

Чуть не сорок столов.

Припасали еду семь да семь поваров.
Под навесом берез, на лужочке зеленом,
угощали с двух рук, подносили с поклоном,
что смогли наварить, что успели напечь...

«Голова» выдавал громобойную речь:
мол, сдадим! Не подгадим районную сводку!
Мол, заткнем «мировой буржуазии» глотку
полновесным, ударным колхозным мешком!
— Только так! — И о стол ударял кулаком.

И чего-то еще о кулацком охвостье
говорил. И косил на районного гостя
взгляд...

И видел, что речью доволен был гость.

И гремели ладони, и пиво лилось.
И кому-то гармонь сумасшедше и яро
разминала суставы. И стыла еда...
Пели. Жгли самосад. Не жалели о старом.
Дескать, дружно — не грузно, а порознь —
беда!

О, погожее лето далекого года!
Принялся и расцвел в это лето цветок
новой жизни. И каждый его лепесток
был тогда выражением веры народа.

Веры в то, что отныне извечному страху
пред нуждой
не селиться уже росамахой
по углам да щелям скособоченных хат,
что беде уже нету дороги назад!

И какие же были нужны цветоводы,
чтоб ни яд сорняков, ни капризы погоды
ни пригнуть, ни сломать тот цветок не смогли,
чтобы рос, набирался он сил от земли.

4

Что же после? Еще пролетело два года.
Крепко врезался в память мне этот денек.
Мать выносит горшки.
У крылечка подвода.
Младший брат мой ликует: ему невдомек,
что не к бабушке в гости сегодня мы едем...
Грустно смотрят на нашу работу соседи.
И ребята. Особенно Надька, Надеха...
Мы всю зиму сидели за партией одной.
— До свиданья! — сказал я.
А Надя со вздохом
за косичку взялась, повернулась спиной
и, помедлив немного, схватила за руку
одноклассника Кузю — и вон со двора!

Эх, и мне бы...
Но все приближало разлуку:

и растерянность мамы, и стук топора...
Вот уж поднят сундук. Вот закрыты замки.
Вот уж гвозди вгоняет отец в косяки...

Слепнет дом. Нет, отец на него не в обиде.
Просто хочет, чтоб он совершенно не видел,
как мы тронемся с места, чтоб дом наш не мог
вслед нам, как человек,
бросить горький упрек.

Было солнечно, вешне. А мы уезжали.
Хмурясь, дергал отец поминутно вожжами.
У него от земли под ногтями черно.
У него на душе, как в подвале, темно.

Споро мерин идет. Мы с брательником с воза,
озираясь, глядим на владенья колхоза.
Тут вот батька пахал. Замахнется кнутом:
— Ну ты, черт! — И земля из-под плуга
винтом

Там вон дергала лен наша мама. Бывало,
не присядет поесть: ей все мало, все мало!
И писал бригадир, почесав в голове,
ей под вечер не палочку в книжку, а две...
Ликовала она!
А вон там, за рекою,
батька подсеки жег. И случилось такое:
вспыхнул жарко валежник. И вдруг из огня
поднялась, испугав не на шутку меня,—
кто б ты думал? — тетерка.

Ширяя крылами
дым горячий, она пролетела над нами.

Батька глянул, жалея, ей вслед тяжело
и промолвил: — С гнезда сорвалась. Припекло

И застыл, пораженный. И долго глядел он
на огонь, навалившись на кол обгорелый...

— А вон там...— вдруг припомнил еще что-то
брат
приглашая меня оглянуться назад.—
Там...— И смолк, удивлен:
на вершине увала,

от телеги отстав, наша мама стояла.
К чужедальной дороге стояла спиной,
гореванно прощалась с родной стороной.

Оторвало от берега льдину-судьбину,
понесло, потащило, крутя, на чужбину,
мимо детства, девичества, бабьей поры;
мимо нив, что не очень бывали добры,
мимо круч горевых, островочков надежд,
и гуляний и песен, что пелись допрежь.

Что случилось — едва ли она понимала.
Не бывало такого в роду, не бывало!
Как же так: при земле

уезжать от земли?

«Передумай!» — давали совет журавли.
«Ведь не поздно еще!» — стрекотали сороки.
«Возвращайся скорей!» — убеждали грачи.

И сжималось сердечко от этой мороки:
что же, господи, делать-то ей, научи!

5

А страна избяная
и гордо и просто
в те года расставалась решительно с прошлым.

Медногорлые громы снимала с церковей,
на каблук подковаться желая скорей.

Дорывала последние лапти без горя
и сама, без подачек чужих из-за моря,
там и тут, подтянувши потуже ремень,
возводила цеха на виду деревень.

И была ей любей не рубаха под пояс,
а рабочая блуза, железная статья.
Комсомольск-на-Амуре и Северный полюс —
все ей надо постичь, все ей надо достать.

Выше! Дальше! И не было позой героизм.
О, она понимала, круша и творя,

сколько взглядов — и добрых, и злобных,
и просто
любопытных
за нею следят с Октября!

И понятною гордостью первой на свете,
молодая, она увлеченно жила.
За себя да еще за идею в ответе,
на такие она замахнулась дела!..

И дошли до села громовые раскаты
этих дел и взорвали извечную сонь.
Что там плуг, борона! Что овины да хаты,
коли есть Днепрогэс!
И уже под гармонь
пареньки из залесных халуп да заречных —
не бывало такого еще на веку! —
на рабочих окраинах «Песню о встречном»
запевали, спеша на завод по гудку.

А за ними, наметясь всерьез в инженеры,
присобачив замки к сундучкам из фанеры,
уезжали учиться совсем сорванцы...

И не смели перечить ребятам отцы.
Где там! С радостью даже ребят провожали.
И пахали, и сеяли после, и жали
за себя, за сынов...
И приятную весть
получив из доселе не слыханных мест,
улыбались в усы: хорошо, мол, сыны!

А сыны не жалели себя для страны!
А сыны с деревенской дюжей ухваткой
грохотали киркою, играли лопаткой,
трамбовали бетон в основаниях домен...

И, пожалуй, немножко грустили о доме,
где все глуше, хлебнувши расстанной беды,
вечерами звенели гармошек лады.
И безрадостней стали зимой посиделки.
Примирились с изменами старые девки.
Кавалеры теперь приезжали в село
только летом, чтоб выйти — и грудь наголо,

чтобы, пыль подметая штаниной широкой,
поразить деревенщину модным фокстротом,
опустевшую избу продать на дрова
и уехать, сказав «До свиданья» на «а»...

6

Я позднее и сам приезжал. Я и сам
белозерского «ленчика» в церкви плясал.
И под куполом самым, забыв про грехи,
декламировал с жаром чужие стихи!

И особенно хлестко
про паспорт серпастый.

Ритм железный скреплял я движеньем руки,
доставал из штанины свой паспорт и хвастал,
хвастал так, что глотали слюну мужики.

Приходили теперь и они вечерами
в клуб кино посмотреть, от работы устав.
Богохульно звенела гармоника в храме
до полночи, под галочий гвалт на крестах.
Их не сразу свернули: все дня не хватало.

Я любил посмотреть с колокольни окрест.
Поредели посадки, овинов не стало
и заметно к посадкам придвинулся лес.
И, поскольку они поредели, посадки,
все трудней управляются с полем бригады...
Мужики же, глядишь, задирают носы,
потому как у Федора — летчиком сын,
у Ивана — врачом, у Петра — капитаном...

Как приедут домой, как потрянут капиталом —
полдеревни в хмелю!
Крепок хмель даровой:
ни рукой шевельнуть, ни потрянуть головой.
Восседает под образом, ширясь плечами,
дорогой гостенек:

«Как патрет! Как начальник!»
Не чужой и не свой уже в отчете дому...

И стыдятся девчата-доярки ему
протянуть пятерню: не бела, не мягка
и не в меру, к тому же еще, велика.

Да и сверстники, смотришь, пред гостем
робеют.
Похвалиться собой — и подумать не смеют!
И не знают, почтения к гостю полны,
настоящей себе — настоящей! — цены.

Да и то: революции нашей от роду
только двадцать исполнилось к этому году,
И не все, на беду, понимали вполне,
что достоин с Героем любым наравне
встать и тот, кто к земле пуповиной прирос,
кто великою верою верил в колхоз!

Верил так же,
как верят влюбленные в счастье,
потому что он был выражением власти,
за которую —

это запомнят века —
щедро пролита также и кровь мужика!
Верил он,
хоть ему причитались в излишке
за работу порой только палочки в книжке,
и хватало ему этой веры, хватало,
поплевав на ладони, начать все сначала.
Да, хватало! Тому подтверждением веским
грозовая военная наша страда!
Сколько вынес да вытерпел люд деревенский,
сколько сил положил для победы тогда!

Он в душе не копался, суровый оратай.
Он одно понимал:

надо гнать супостата!
И не ныл, не стонал, не искал виноватых,
а работал!

За мужа.

За сына.

За брата.

Отдавал он войне все, что поле рожало,—
до зерна, до куска...

И солдаты, бывало,

замечали: не солнцем, не летней грозой
пах тот хлебушек трудный, а горькой слезой.

Кто растил-то его? Ребятишки, да деды,
да солдатские мамы, да женки солдат...
О, как долог был, пахарь, твой путь до победы!
Даже страшно сейчас оглянуться назад.

И когда отгремели за Одером пушки
и остыл, разряженный последним, свинец,
человек, говоривший с акцентом по-русски,
похвалил за терпенье тебя наконец.

7

Дверь открыла и — ах!
И рукой по подолу:
— Да ужель это вы? — И сама не своя,
привечая гостей, закружилась по дому
Маремьяна Васильевна — тетка моя.
Береженую скатерть на стол! И за чашки.
Миг один — и уже водружен самовар.
Нараспашку окно. Нараспашку рубашки.
Пляшут зайчики в блюдцах. Над блюдцами —
пар

Я гляжу: как просторно, как прибрано в доме.
Уж не восемь ли лет все одна да одна
Маремьяна Васильевна — горюшко вдовье —
проживает. И в том не виновна она.
Детки все разлетелись. А муж ее — Яков —
и вернулся домой, да израненный весь.
Но не сдался! Остатнюю силушку на кон
всю поставил:

стонать, мол, велика ли честь!

На собранье каком-нибудь, припоминаю,
кривда губы кусала до крови при нем!
— Пусть я, — скажет, бывало, — огонь
вызываю
на себя. Ничего... Я бывал под огнем!

И начнет «выкладать».

Был похож он на дерево,
расщепленное молнией. (Стоя оно
умирало... Но твердо в бессмертие верило,
молодыми побегами окружено!)

Было Якову трудно, но бился, не охал!
Потому, даже в те непогожие дни,
проросла его вера Кузьмой и Надехой —
как и сам он, партийцами стали они!
Переняли от Якова, став коммунистами,
неунывность его, и его прямоту,
и его молодую в работе неистовость,
и безмерную к людям его доброту.

Умер вскорости он. Ненадолго хватило.
Умер Яков —

едва ль не последний мужик
из немногих, вернулись которые было...
Умер, руку одну на живот положив.

Я вздыхаю. И, памятью горькой растроган,
достаю «Беломор», придвигаюсь к окну...
Тетка мне: — Да кури... Мужиком хоть
немного
будет пахнуть в избе-то! Кури не одну.

Сам-то вон как дымил...—

И замолкла. И прямо,
не мигая, глядела с минуту она.

Отдыхать на сарай отвела нас: жара, мол,
да и мухи в избе-то... А тут — тишина.
Прикорнул у плеча и заснул мой мальчонка.
Гром проухал вдали, словно кто по бочонку
кулаком постучал... Собиралась гроза.

Ну, а мне не спалось.

Я все думал о чем-то...

И отчетливо теткины видел глаза,
в пустоту устремленные...

Явственно слышал

скорбный голос ее: «Да кури ты, кури».

Пешка пешкой иной ведь в масштабах
конторы,
а приехал в колхоз — полководец Суворов!
Трактор стал — и Суворовы все тут как тут!
Ну, а толку-то что? Только пашню умнут...
А могли б, животы надорвать не рискуя,
трактор тот на руках отнести в мастерскую!

Но они тракториста берут в оборот.
Кто-то сводкой тряхнет, кто-то вынет блокнот.

Кто-то болтик иль гайку какую для вида
тронет пальцем и вытрет его о платок...
И туманит глаза тракториста обида:
— Не марались бы вы... Отступили б чуток.

Да и то:
хлебороб — он же издавна знает:
мать — сырая земля не от сводок рождает —
от любви неизменной!
В ответ на любовь
отдает она людям зеленую кровь!

И да здравствует эта любовь!
Лишь она
украшает колосьями землю. Одна!

9

Сенокосит деревня.
Уставшие за день,
вновь блаженствуем мы в деревенском раю.
Теткин дом — он четвертым стоял на посадке,
а сегодня он первым стоит, на краю.

А сегодня за теткиным домом — околица...
И не первое лето, с тоски без ума,
там, где раньше стояли другие дома,
синим далям по-вдовьи черемухи молятся.

И глядят на дорогу и верят, неистовы,
что к весне мужики возвратятся сюда
наострят топоры, срубят избы смолистые,

и запахнет дымком,
как в былые года...

Ах, черемухи!
Лучше вам с долею трудною
примириться:
иные пришли времена.
И не будет деревня уже многолюдною,
потому что моторною стала она.
Но и все ж
мне близка и понятна, деревья,
ваша грусть.
Я и сам до сих — не солгу —
к той тележной, бедовой и горькой деревне
очень нежные чувства в душе берегу.

Не она ли — она меня, малого, скоро
понимать научила — не вытью одной —
как он, хлебушко-батюшка, пахарю дорог
и как сладок, поскольку он хлеб трудовой.

У нее я учился премудростям чести,
прямоте: да — так да
или нет — так уж нет!
Благодарен я ей, деревушке в залесье,
и за сказки ее, и за песни...

Ах песни!

Я люблю их и помню с мальчишеских лет.

То печальные, как завывание вьюги,
от которого — знаете? — дрожь по спине.
То веселые очень, как ливень в округе,
из-под радуги ливень. И гром в вышине!

Ох, какгнулись под песенки те
половицы!
Русский хмель — он такой:
коли бросило в круг,
надо пол проломить,
или об пол разбиться.
или высечь огонь каблуком о каблук!

Руки в стороны: — Эх! — Ходуном вся изба,
словно в этой избе не гульба — молотьба.

Не умела деревня — характерец чертов! —
ни вполсил работнуть, ни вполгорла
хлебнуть...

Я вас помню, гулянки, я знал вас, вечерки,
знал... И словом худым не хочу помянуть.

Худо, что ли, как кони летели по кругу,
пронося, словно радугу, полем дугу?!

Не могу я,

по памяти, словно по лугу,
проходя,

наступать на цветы, не могу!

Понимаю, что к старому нету возврата,
отзвенели твои бубенцы навсегда,
деревушка...

Но так ли уж ты виновата,

чтобы все зачеркнуть, чем жила ты тогда?!

Много дикости было?

Да, было. Допустим...

Но и все же, какой бы она ни была,
та деревня,

понятие гордое: русский! —
в полной мере она осознать мне дала!

Да, она! Хоть об этом ее не просил я.
Это после пришло... И когда я кричу,
что деревню люблю, — это значит, Россия,
я тебе в этом чувстве признаться хочу!

Ты иная сегодня. Ты в космос врубилась...
Но и громом ракетным встречая свой день,
я хотел бы, Россия, чтоб ты не забыла,
что когда-то ты вся началась с деревень.

10

Мы гостюем у тетки уже две недели.
Молока — хоть залейся. И кашу не делим:
и наутро горшок, и на вечер горшок —
мы поставили все-таки тетке стожок!
Невелик он — а все же к «процентам» подмога.
Так уж рада она! Мол, надейся на бога,

ну, а сам... И потуже затянет платок.
Тетка — баба не промах. Гроза! Кипяток!

По земле — никому ничего не должна —
по-хозяйски ступает сегодня она.
И касается всякое дело ее,
и сужденье о деле у тетки свое.

На усадьбе у тетки, как джунгли, ботва.
Ну, и клевер, конечно. Не просто трава.

До чего ж он высок!
Стебли словно веревки!
И хотя мы на совесть отбили литовки,
застревают, как будто в отрепье, они.
Р-раз! — и сдайся назад.
Два! — и вновь потяни.

— Вот что можешь, земля, ты! — дивлюсь я,
махая. —

А еще говорят про тебя, что плохая,
что скупая у нас ты... Да это ж брехня!

Вижу, тетка с улыбкой глядит на меня.
— И в колхозе сей год клевера-то
ди-кушшие! —
говорит мне она. — А ведь чуть не порушили!
Приезжал по весне тут один... енерал.
На Кузьму-бригадира уж так напирал!
А Кузьма — ни в какую! Дойдет до ответа —
все одно повторяет: «Согласия нету».
Ну, а если, мол, он для успеха помеха,
если ведает тот, как прямее проехать,
пусть садится и правит... Бригаде нужна
не красивая сводка — мол, грош ей цена!

Я смеюсь: веселит меня теткин рассказ.
Ах, Кузьма! Ну, Кузьма! Даже слезы из глаз!
И молчал ведь...
А сколько, о чем ни попало,
толковали мы с ним вечерами, бывало.
Сядет рядом, достанет кисет да газетку,
чуть не с палец сигарку свернет — и начнет:

— Ты бы вот что, писатель, себе на заметку
взял... Да ты не спеши: ты послушай вперед.
Ну, вот сев, например.
Да, горячее время.
Ни поспать, ни побриться... Поскольку страда!
И покудова в землю не брошено семя,
хоть до пояса пусть отрастет борода —
пахарь плуга не бросит, земле не изменит...
Это, знаешь, в крови у него. Испокон!
Ведь земля ему — высшая власть и спасенье!
И не зря ее ласково матушкой он
величает,

как сын, ей покорен до гроба!
И пустая им тяжба совсем ни к чему:
он ли служит ей вечно, она ли ему?!

В узел издревле накрепко связаны оба!
Трудно, да,

но и радостно это служенье.
Без упреков, без клятв, без биения в грудь...
А теперь — коли сев, то, конечно, «сражение»,
коли жатва, то «битва»...
Послушаешь — жуть!
Шуму, треску! Гляди, телефон разорвется.
И приказ, и указ... И еще шелкопер
из газеты...
И все призывают «бороться».
С кем бороться — не ведаю я до сих пор.
Да и некогда, знаешь ли: столько работы!
Впрочем, может, не дело совсем говорю...

И смутится, конечно:
— Да брось ты... Да что ты! —
Если я его вдруг от души похвалю.
Мол, какой он философ!.. И в шутку добавит:
— Темнота ведь, деревня!
— Ну да — темнота!
Темнота, да не та, — не скажи, брат, —
с зубами!
И, конечно, такая она неспроста... —

Он и сам это знает. Он все понимает!
Он о будущем даже не прочь помечтать.
И мечтает! А чаще считает, считает...
Все в деревне теперь научились считать.

Мы сидим на валке посредине участка.
Шмель летает. И маковки медом сочатся.
Трактор улицей прет, тянет сани большие.
И горой на санях бревен меченых воз.
Кто-то дом перевозит.

Видать, на отшибе
под завязочку, как говорят, нажилось.

Слышу:

— Ставить под вашей черемухой ладит...

— Что же, место веселое! — я говорю. —

Дому тут и стоять: в самом центре бригады,
да и окнами, кроме того, на зарю! —

И на миг представляю...

Нет, вижу сквозь время
этот дом и черемуху эту в цвету,
вижу клуб (не церквушку уже) —
всю деревню,
но не эту, а будет которая, ту!

Подметет она стружку в заулках. И встанет.

И засветит в распахнутых окнах огни...

И потянет сюда меня снова, потянет
за веселыми песнями. Будут они!

Очень многое будет!

Как в небе, широко
мы шагнем и в деревне —
нас время торопит.

И гулять по полям небывалым машинам!

Так я думаю, с завистью глядя на сына.

Он заметно в деревне окреп, загорел.

Он в деревне серьезнее стал. Повзрослел.

Молча смотрим мы оба,

как, тяжек и грозен,
на заброшенной пашне, упершись плечом,
выдирает с корнями осины бульдозер
и замшелые пни — все ему нипочем!

Он спешит: надо с делом управиться в срок!

И упрямая сила его — как зарок,
что земле молодеть!

Как она широка!

За черту горизонта плывут облака...

А на клеверном поле, у нас на виду,
люди, солнышком залиты, ставят скирду.
И Кузьма среди них.

Вот он, выпрямься, встал.

Вот он запросто граблями небо достал,
двинул по боку тучку и шумную ношу,
подхватив, приподнял

и у ног положил.

И опять распрямился...

Погодой хорошей

в пору страдную эту Кузьма дорожил.

1962—1963



Одна навек



(ЛИРИЧЕСКАЯ ПОЭМА С ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИМ
ОТСТУПЛЕНИЕМ И ЭПИЛОГОМ)

1

Все было просто поначалу,
и все ж оно, начало,— там.

2

...Летела лодочка к причалу,
да так, что пена по бортам!
Да так, что белая рубаха
была мокра — не от дождя,—
да так, что ахала от страха
девчонка, с берега следя.

— Э-гей! — неслоь по ветру с кручи.
— Э-гей! — мальчишка отвечал.
И гром гремел. И дождь блескучий
стеклянно брякал о причал.

Но вот лучи пронзили косо
седую тучу, и, крута,
взметнулась радуга над плесом,
как в жизнь широки ворота.

А рыбашишка —
до колена
на нем закатаны штаны —
все греб, веслом сшибая пену
с гривасто-яростной волны.

И ахал, видя, как — не шутка! —
летели брызги за корму.
И было весело и жутко
и было радостно ему.

И, глядя из-под мокрой челки
на берег, он, из озорства,
орал что было сил девчонке
веселой песенки слова.

Орал, захлебываясь синью,
орал, размашисто гребя,
большим-большим
и сильным-сильным
при этом чувствуя себя.

И пусть еще нигде он не был
и мало видел, — что с того! —
вот это озеро и небо —
навекы родина его.

Все-все: и эта деревушка,
и эта темная стена
лесов за нею,
и девчушка,
и дождь, и песня — все она.

Она — и стог на клеверище,
она — и пляска, как огонь,
с прихлопами по голенищам
под разлюбезную гармонь...

а он ей ходу поддавал.
А впрочем, сам того мальчонка
еще и не осознавал...
Летела к берегу лодчонка,

— Раз, раз! — И лодка в травы носом.
И вот уж он на берегу
беспечно и простоволосо
бежит под радугу-дугу.

Бежит, как будто хочет диво
достать рукой,
бежит, пока
дуга, фарфорово-красива,
не растворится в облаках...

3

Мели снега. Дымились росы.
И шли дожди...
Мальчишка рос...

4

Однажды он с бригадой взрослых
попал на дальний сенокос.
На д а л ь н и й — это значит
где-то
за топким местом, за рекой.
И потому, конечно, летом
туда дороги никакой.

Туда до наледи, до снега
лишь только паре лошадей
обыкновенная телега
под силу — с харчем для людей.
Зато как кончится болото,
зато как вымахнут на луг
лошадки, мокрые от пота,
и подуставшая «пехота» —
уж то-то грянет праздник вдруг!
И молодой вовек, и старый —
престольный праздник с е н о к о с.

...Телега проскрипит и станет
в тени лепечущих берез.
Тут и раскинет шумный табор

свои духмяные шатры.
К возку гурьбой подступят бабы
и сгрузят косы, топоры,
корзины, грабли, ведра, кружки,
а мужики — котел в свой срок...

И вскоре в глубине опушки
березам белым под макушки
цыганский вымахнет дымок.

Девчата же,
 звонкоголосы,
и парни, дьявольски ловки,—
не терпится,— ударят в косы —
и лягут первые валки.

И о н, подставив плечи зною,
как ровня, тоже встанет в ряд
и вдруг почувствует спиною
неравнодушный чей-то взгляд.
И руки каменно нальются,
и в уши вдруг ударит звон...

Но встать,
 внезапно оглянуться
не сможет он, не сможет он.

Лишь всю, до капли, вложит силу
в размах широкий —
пусть о н а
глядит, как косит он красиво,
как осыпает дождь росинок
травы зеленая стена.

Весь мир изменит та минута!
И будет жить он, молодой,
теперь уже под этой жуткой,
в его душе взошедшей круто
и ярко вспыхнувшей звездой.

И раз случится:
в полдень жаркий
о н и о н а, плечом к плечу,
листа смороды для заварки
нарвать отправятся к ручью.

И вдруг, как ласточка с ладони
она помчится хохоча:
мол, догони!..
И он догонит,
и на копну ее уронит,
и... поцелует сгоряча.
Но тут же, встрепанный, с испугом
отпрянет... Сено отряхнет
с рубахи и, смущенный, лугом
за нею следом побредет
к кусту...

И, встретясь с нею взглядом
там, у куста, шепнет: «Прости».
И кисть тяжелых спелых ягод
протянет молча ей в горсти...

5

А вечером, когда с болота
туман накатится, когда
утихомирится работа,
собой довольна и горда:

когда смородиновый в кружках
чай задымится у костра
и коростель своей подружке
начнет твердить, что спать пора;

когда повиснут руки праздно —
равно у сына и отца,—
когда в них сил найдется разве
что комара смахнуть с лица;

когда леса охватит дрема
и воцарится тишина,—
легко, естественно, как дома,
родится песня, чуть слышна...

Ее задумчиво подхватит
высокий бабий голосок
и молодой, озороватый,
почти мальчишеский басок;

и дружно, строя не нарушив,
ее подтянут, как вчера,
девчата, вкладывая душу...

И он ту песню будет слушать,
недвижно сидя у костра.
И луг пред ним виденьем странным
предстанет:

 в отблесках зари
стога, сокрытые туманом,
уж не стога — на поле бранном
былинные богатыри.

Они бессменно на дозоре.
У них с бровей роса течет.
Их длани на мечах...
И горе
тем, кто рубеж пересечет!

Взойдет луна. Зажгутся звезды.
И ухнет филин на сосне.
Чуть слышно белые березы,
о чем-то вспомнив в полусне,
вдруг залепечут
на забытом
древнеславянском языке...
Всхрапнув, ударит конь копытом,
плеснется рыбина в реке.
Смешаются и быль и небыль...

Но сохранит навек душа,
но будет помнить — где б он ни был! —
и этот луг, и это небо
с луной над крышей шалаша.

6

Минует год. И вновь на пожни
крик журавлей с небес стечет.
И мать, печалясь,
подорожник
ему в то утро испечет.

И хлеба припасет, и соли,
и медовухи сверх того...
И будет первое застолье
в избе родимой в честь его.

Он с праву руку батьки сядет
и чаркой чокнется хмельной
с ним — первым,
с матерью и дядей
и всей роднею остальной.
Впервые чокнется на равных...
Отец вздохнет:

— Ну что ж, давай!
Как говорят, служи исправно.
Команды слушайся... А главное —
родителей не забывай.
А коли что, так,.. Понял? Грудью!
Не опозорь, смотри, отца!
Ну, дай бог, э т ы е не будет...

И выпьет первым до конца.
Потом рассыплет дробь гармошка,
и выйдет он на круг: «Гляди,
запоминай, на кофте брошка!»
И покуражится немножко,
рванув рубаху на груди.

И в пол с такою силой бухнет —
пускай родня не укорит,—
что даже в кухне, даже в кухне
посуда вся заговорит!
— Эх! — Пусть отец в него поверит
и перестанет мать тужить:
он не юнец по крайней мере,
хотя еще и не мужик.

Но есть характер, есть характер
и у него! Он в батьку весь.
Пусть пожалеет председатель,
когда его не станет здесь.
Пусть, расходясь домой с вечерки,
когда снега, когда дожди,
все посочувствуют
девчонке,

вот этой, с брошкой на груди.
Не год, а три
 хранить ей свято
любовь...

А впрочем, что гадать!
Ведь служба срочная солдата
всегда бессрочной может стать.

Его судьба — как в море лодка,
когда в тумане берега...
Ты не ревнуй его, молодка,
теперь он Родине слуга!

7

Девчонка преданно и верно
ждала его. Он должен был
домой вернуться в сорок первом...

Но раз
 трубач безусый
 нервно
полку тревогу протрубил:
«Та-та! Та-та!»
И вслед, как вспышка:
в о й н а!
Откуда-то взялась
под самой ложечкой
 ледышка,
и стужа в жилы пролилась.
В о й н а!!!
Приказ читался строю.
И ощущал он в том строю
плечами — плечи, а рукою —
винтовку верную свою.

И думал:
если он споткнется —
а на войне не без того,—
конечно, строй опять сомкнется.
Но без него...

На одного
строй будет уже, будет уже!
И пуля грозная в стволе
замрет...
Но как он будет нужен,
солдат, своей родной земле!

Ее зеленые одежды,
селенья — в пламени, в дыму...
Сегодня, более чем прежде,
она, великая, в надежде
на сыновей. И потому
о н д о л ж е н ж и т ь !
И через бруствер
того окопа — знай же, враг! —
где он с винтовкой встанет,
русский,
не переступишь просто так!

Мозоля руки на затворе,
еще и то ты не учел,
что с русским
в радости и в горе
сто братьев! Сто — к плечу плечо!
И ныне вот они, с ним вместе:
брат-украинец, брат-казах...

8

Но шли худые с фронта вести
в деревню тихую в лесах.

Ах, должность горестней была ли
в войну еще, чем почтальон?..
Как в избах бабы замирали,
когда входил в деревню он.

Какая им, несчастным, мука
была, зажав ладонью рот,
гадать,
когда он, до заулка
дойдя, свернет иль не свернет.

Как им хотелось, чтоб свернул он,
как было страшно, что свернет!

Как трудно было встать со стула,
когда стучал он у ворот!
Уж проходил бы лучше мимо:
надежда б все-таки была,
что жив кормилец, жив любимый,
воюет, делает дела.
А что не пишет долго — диво ль!
Бумаги нету, может стать.
А может, носит на груди он
письмо, да не с кем переслать.

А почтальон — и слаб и стар он.
ему бы греться на печи —
те извещения без марок
как будто камни волочил.

И каждый раз,
как баба, рухнув
снопом,
 бывало, заревет,
он говорил: «Поплачь, горюха...
Поплачь. Скорее заживет».

И выходил, толкнувши слабо
и раз и два тугую дверь...
И вновь за ним следили бабы:
к кому же он свернет теперь?
К кому же?!

И сбегались вскоре
толпой в сиротское жилье,
чтобы обвить чужое горе,
обвить, предчувствуя свое.

9

Ему б теперь пахать землицу,
п а х а т ь! А он ее к о п а л.
Оставив в пламени границу,
полк третий месяц отступал.

Но бились роты, бились роты,
порвав рубахи на бинты,
за безымянные высоты,
за деревянные мосты.

За сенокосы и за пашни,
за села и за хуторки...
И — было дело — в рукопашных
не раз кровавили штыки.
И отходили, обессилив.

«Твоя пока, фашист, берет.
Но погоди, тебе Россия
еще покажет, кляп те в рот!
Еще узнаешь ты, придурок,
умывшись кровью,
 сколь она,
увеселительных прогулок
была занижена цена!
Гуляй, да помни, гад, дорожку...
Разбойничать в ее дому —
Россия этакую роскошь
не позволяла никому!»

Так думал он, ступая тяжко,
и так бодрился он, солдат.
Давно хотелось пить, но фляжка
пустая билась о приклад.
И черенок саперной малой,
свисая, стучал по бедру.
Хотелось спать, но предстояло
опять рубеж занять к утру.
А это значит, что оружие
сними с плеча, скатай ремень
да и копай, копай поглубже —
как знать, каким он будет, день.
Как знать...
И он копал, пехота,
копал, стирая пот с лица.

«Война, ребятушки, работа.
Ее — охота не охота, —
а надо сделать до конца.
Чтоб — точка, все!

Какой бы тяжелой
она и грязной ни была».

И добавлял:
«Меня в рубашке,
ребята, мама родила.
А это значит, что пройду я
весь, до конца, мой трудный путь.
И мама голову седую
еще приклонит мне на грудь».

10

Мать. Мама...
Было так однажды:
прорвавшись все же через мост,
рванулись с ревом цепи вражьи
к окопам нашим в полный рост.

И он, к плечу приладив туго
приклад и крепко сжав цевье,
почти с мальчишеским испугом
в тот миг подумал про нее.

Мелькнуло: будто бы он в доме
своем, за кондовой стеной.

И вот они, враги,
в проеме
окна... А мама — за спиной.
И будто бы рука бандита
уже наводит пистолет
в нее... И он — ее защита.
Одна. Другой защиты нет.

О, как тогда в нем кровь вскипела!
С каким он тщаньем —
«Нате вам!!!» —
прошелся прорезью прицела
по ненавистным головам!
Как заметался враг, ошпарен
свинцом!..
А он... О, как же он

был пулемету благодарен!..
И, даже взрывом оглушен,
вел бой...

И, целясь вновь под горку
из пулемета, ликовал.
И злой его частоговорке
на миг умолкнуть не давал.

И нет, не страх
(немало видеть
ему за эти дни пришлось!) —
в его душе жила обида
в тот миг.
И гнев еще. И злость.
И в самом деле, не обидно ль,
что пришедшая вот эта с п е с ь
его решила сделать быдлом,
с хлыстом ему на шею сесть?!

Чтобы, сгибаясь перед нею,
забыл он, русский человек,
все, чем он жил...
И чем скорее,
тем лучше!
Все забыл, навек!
И потому ей надо, спеси,
под грохот бомб, в дыму разрух,
пройти все грады и все веси
и утвердить во всем
свой дух!

И коваными сапогами
примять траву над бережком,
где он косил...
И опоганить
родное озеро плевком.
То самое,
где у мосточка
сверкает рыба серебром,
где мать, повязана платочком,
идет по тропочке с ведром...

Достойна славы и печали
судьба ровесников моих —
ребят,
родившихся в начале
двадцатых...
Я сейчас — о них.

В тот год, когда их колыбели
качнулись, взмыв под потолки,
еще не шубы, а шинели
носили в селах мужики.

Они вернулись в край родимый
лишь год назад — была война.
И пахло порохом и дымом
от их дырявого сукна.

О, этот запах...
Нет, едва ли
какой был более знаком
мальцам. Они его впитали,
как говорится, с молоком.

И в годы первые, и после
он, как начало всех начал,
их представления о взрослых
всего наглядней воплощал.
Он веял в лица им, бедовым,
когда — отрядом на отряд —
они за домом Марьи вдовой
играли в «красных дьяволят»,
рубали с гиком «белых гадов»...

И не было у них, мальцов,
ни булочек, ни шоколадок,
ни даже просто леденцов,
ни «ружей» и ни «пулеметов» —
стругали доски для игры...

Но было что-то, было что-то
у них тогда, у желторотых,
важней всей этой мишурь!

Оно вилось над их ватагой
незримо... И уже в те дни
сердца их наполнило отвагой
и были счастливы они!

И выше не было награды
для них с тех пор во все года,
как удостоиться лишь взгляда
отцов

и слова иногда:
мол, так держать!

И новой схватке
отдать все силы до конца.
Одно у них тогда в достатке
и было — преданность отцам!

И шли они по их заданьям
в порыве юности святом
пахать, учиться, строить зданья...
Любовь при этом и свиданья —
все оставляя на потом.

«Потом, потом...» — склонясь устало
над недописанным листом,
твердили мальчики, бывало...
Ну, а «потом» — войною стало,
и стало гибелью

«ПОТОМ».

Ах, сколько же их,
затаенных:
«Люблю тебя, тебя одну!» —
ни разу не произнесенных
вслух,
так и сгнуло в войну!

А мало ли без вас, ребята,
поблекло губ, потухло глаз
и залежалось кофт несмятых
и платьев, шитых про запас!

А сколько хромок синемехих,
у вас гостивших на руках,

обезголосело навеки,
рассохлось в старых сундуках!

Все, все, чем юность так богата,
чем вечно молодость жива,
швырнули вы в огонь, ребята,
охапкой полной, как дрова.

Швырнули в самую середку
огня... И ваша ли вина,
что не спалила сразу глотку,
а поперхнулась лишь война?!

Что оказалось мало, мало
ей, вами шлепнутой под дых,
ран ваших,
крови вашей алой
и жизнью ваших молодых?

И ты казни, мой стих, презреньем
тех, кто, болтая про войну
сегодня,
ваше отступление,
ребята, ставит вам в вину.

Да, отступали вы...
Но каждый
сто раз тот горький проклял путь!
Да, шли назад...
Но пули вражьи
вас убивали только в грудь!

И, защищая каждый город
на берегах родимых рек,
вы заслужили не укора,
а благодарности
навек!

И все-таки в ее заулочек
он завернул в тот день, старик.
Взглянула — и захолонуло

под сердцем, и присох язык
к зубам...

Едва хватило силы
принять дрожащею рукой
конверт...

И вдруг:

— Дедуся, милый!
Ах!.. — И к его щеке —
щекой.

И закружилась с ним в обнимку:
— Он жив! Он жив!
— Ну, дай-то бог...

Старик растроганно слезинку
сморгнул и вышел за порог,
дивясь, что сумка легче стала...

Она ж, присев возле стола,
сперва конверт к губам прижала
и лишь потом надорвала.

«Любимая!» — И лист неровный
вдруг задрожал в ее руках,
и в голубых ее,
огромных,
предчувствием
разлился страх.

И стал белей бумаги палец,
следивший дрожко за строкой...

«Любимая! Мы отступаем.
Уже все наши за рекой...
Здесь только мы. А мост не взорван...
А мост уже в руках врага.
И наш комбат сказал:
«Позор нам! —
И: — Добровольцы, два шага
вперед!»
И, сколько нас осталось
в живых, мы разом все — к нему!
«Что ж, браво!» — бросил он устало.

И пятерых, по одному,
из строя вызвал...
Третьим с краю
встал я.
И он, суров и прям,
сказал: «На смерть вас посылаю.
Пишите письма матерям.—
Потом добавил: — И невестам.
В распоряжение вашем час».

И вот, посуше выбрав место,
я и пишу... Последний раз
пишу тебе... Прости, что почерк
так неразборчив,

ты должна
понять: мне часа мало очень,
чтоб все сказать...
Мне жизнь нужна!

И я спешу, спешу! И сразу ж
хочу о главном...

Минет срок —
и ты, конечно, выйдешь замуж.
(Я понимаю: я жесток...
Но ты ведь — кто тебя осудит! —
ты выйдешь, верность мне храня.)
И у тебя сынишка будет —
пусть непохожий на меня,
пусть...

Но хочу я, чтоб мальчонка
был у тебя. На все горазд...
И чтоб соломенная челка
на лбу... И крапинки у глаз.
Чтоб узнавала средь мальчишек
ты даже издали его.
И чтоб однажды он услышал
рассказ твой грустный
про того,
кто так хотел (прости мне это
признание) стать его отцом...
Да не судьба вот... Сгинул где-то.
Неважно где... Он был бойцом.

И ты... однажды ты поведай
ему, оставив все дела,
что он не дожил до победы,
но умер, чтоб она была.

Чтоб снова добрым людям в лица
ударил свет, рассеяв тьму,
чтоб он, курносый, мог родиться,
чтоб хорошо жилось ему.
Чтобы его утрами тропка
то в лес, то к озеру вела.
Чтоб гром гремел,
летела лодка
вперед
и радуга цвела!

Чтоб гасли молнии, как спички,
сломясь об радугу-дугу.
Чтоб чья-то девочка с косичкой
ждала его на берегу...

Любимая! Прощай... И снова
кричу из дыма и огня:
Лю-би-ма-я!..
Но это слово
услышишь ты уж без меня».

13

Два... Три... Четыре года длинных
вдовела,
каменной ствола,
промерзшего до сердцевины:
чего-то все еще ждала.

В укор забывчивым и слабым
ждала... И часто, черный плат
надвинув на лоб, Ярославной
в слезах глядела на закат.

Ждала в полях, ждала в деревне,
ждала, тиха, среди подруг,

ждала, на все разуверенья
одно ответствуя:
— А вдруг!
А вдруг он жив?
А вдруг от взрыва
он увернулся? Дива нет...
И ночь его от пули скрыла,
и лес его припрятал след?
А вдруг он вышел к партизанам?

...А по ночам, под шорох вьюг,
с полузакрытыми глазами
лежала, думая:
«А вдруг
о нем вот это: «Слава... павшим...»
И значит (мысли нет большей),
и значит, я сегодня старше
его?! Почти на тыщу дней!
На тыщу дней!!!»

И лились слезы.
И с ветром стылым заодно,
как будто странница, береза
стучала веткою в окно.

ЭПИЛОГ

Ну, вот и прибыл он, мой поезд,
к черте предельной. В добрый час!
Спасибо, друг, тебе за повесть,
что ты поведал мне в тот раз.

Я не добавил «ради темы»
ни слова, помня твой завет.
Взгляни, за рамками поэмы
осталось двадцать с лишним лет.

И то, как, с ходу взяв крылечко,
не без подмоги костыля,
ты дернул ржавое колечко
и крикнул: «Мама, это я!»

И как, не сняв еще пилотки,
спросил, подавшись весь вперед,
одним лишь взглядом только:
«Ждет ли?!»
И побледнел, услышав:
«Ждет».

И как, окрепнув помаленьку,
пошел махать косою всласть...
Как в тихой вашей деревеньке
в то лето свадьба завелась.
Как поразвихрились по дому
(«Ой, где же наши-т мужики?!»)
в тот вечер пьяные подола
и береженные платки.

И хоть кричали по старинке
все «горько! горько!» вокруг стола,
а свадьба
 больше на поминки
похожей все-таки была.

И этим только, если честно,
всем и запомнилась она.
Одна не плакала — невеста,
отныне — мужняя жена.

Счастливо, радостно, широко
глядела: милый рядом был...
И все ж никто ее упреком
и завистью не оскорбил.

Никто не бросил безрассудно
словечка грубого в тот час...
Друзья! А я, когда мне трудно
бывает, думаю о вас.

И распрямляюсь снова, светел.
И мыслю, верою согрет:
«Пока вы есть на белом свете —
он будет белым,
этот свет!»

Уже три года нашей встрече.
А я забыть все не могу
ни тот, с зарей в полнеба, вечер,
ни тот костер на берегу;

ни ту, под парусом, лодчонку
вдали — а даль была чиста,—
ни ту с косичками девчонку,
за ней следящую с плота;

ни ту грустиночку, что стыла
в тот самый миг у вас в глазах,
о том, что все вот это было
здесь много-много лет назад...

1970



Песня о кузнеце



I

Бродит от крылечка до крылечка
быль про дядьку Ваню-кузнеца,
что он крепко-накрепко повенчан
с чарочкой зеленого винца.
Потому что, «долговязый дьявол»,
пьет он, в пику бабьему суду,
не втихую, не под одеялом —
пьет у всей округи на виду!

Я и сам видал, как, фартук сбросив
в кузне,

атаманом атаман,
выходил он, чтоб в тени березки
облегчить заказчика карман.
Или как за столиком в чайнухе
он дымился, баляясь «чайком»,
как клубились, взвизгивая, мухи
под его тяжелым кулаком.
Как он, налит по уши «столичной»,
после мимо кузницы катил,
кузницы, какую самолично
«ресторан «Березка» окрестил.
Как ступал он, и большой и грузный,
словно был в ногах его металл,
как, остановясь напротив кузни,

сам себе негромко бормотал:
«Ох ты, ресторан мой, ресторанчик,
полюй от снегов и до снегов,
сколькo на углях твоих горячих
я испек железных пирогов!
Сколько лет, корпя над делом всяким
под твоим дырявым потолком,
в бога, в душу! — я не вилкой брякал —
брякал по железу молотком.
Сколько раз под лязганье металла,
с той поры, как кончилась война,
на твоём полу меня шатало,
не совру, шатало без вина.
Может, кем-то это и забыто...
Но не мною, нет! Была пора,
ставил я коней на все копыта,
а случалось — ставил трактора!»

...Ставил. Точно.

Он, кузнец, ни капли
тут не привирал. И потому
перед ним порой ломали шапки
даже преды — кланялись ему!

«Выручи, Васильевич!» — И взглядом
ели: понимали, что почем...
И в сельмаг — он, благо, с кузней рядом —
посылали за магарычом.
Наливали до краев хмельную
чарку — чтоб не только по усам...
И спасал им дядька посевную,
хоть самих порой и не спасал...
И менялись преды — год от году
чаще, без особенной возни.
Дядька же — ковал! Ему отроду
не было замены, черт возьми!
Летом ли, зимою ли — ковал он!
Ну и, в пику бабьему суду,
пил в железку, «долговязый дьявол»,
пил у полрайона на виду.

Я, случалось, письменно и устно
бил его за это наповал,
бил по самолюбию, по чувствам,

к совести и к разуму взывал...
«Видишь ли, Сережа,— отвечал он
шуткою на проповедь мою,—
дело в том, что силы воли мало,
ну, а водки много... Вот и пью».

Я в ответ жестокие примеры
приводил: «Подумай, старина!»
«Так ведь с ней и думать-то, с холерой,
некогда... Бездумная она!
А вообще-то, думать — дело ваше...—
И швырял окурок за плечо.—
Я ведь у железа — не у каши.
Мне ковать, покуда горячо!»

II

...И опять гулянка в доме дядьки.
Всей деревне слышно, как бомбят
белый пол под ярый звон трехрядки
трое рослых дядькиных ребят:
Шурка с Вовкой — двое довоенных,
старших, с шевелюрой негустой,
и Сережка — младшенький,
в Елену,
в мать... По счету ежели — шестой.

Сразу видно; он и есть причина
сабантуя в доме кузнеца.
Ты развейся по полю, кручина,—
в армию забрили молодца.
Пляшет, свесив голову хмельную
перед мамой:

— Мама, не суди!

Уезжаю в сторону чужую...
Ты поплачь у сына на груди.

Батька бьет с досадой по колену
пятерней:

— Сережка, не триви
сердце матке! Слышь?!
А ты, Елена,
словно красна девка не реви!

Где там!..
Накатило — не уймется,
знай глаза углом платочка трет...
Да и самому ему не пьется
нынче, да и водка не берет.
Он вздымает руку над застольем,
но дрожит предательски рука:
дядька провожает не шестого
в армию —
п о с л е д н е г о сынка.
Чокается: — Выпьемте, ребята! —
не уняв по-прежнему руки.—
Значит так, Сережка: ты — в солдаты,
ну, а мы, выходит, в старики.
Ну, а наше времечко на убыль...
И вообще: вдвоем во всей избе!
Вот что ты, смехач наш белозубый.
натворил! Не совестно ль тебе?!

Шутит дядька.
Хочет скрыть, что горько
на душе, а сам о том опять:

— Двое остаемся, мать... А сколько
было их у нас — не сосчитать!
Этот в зыбке,
те вдвоем на печке,
эти под тулупом на полу...
Ну, а летом, окромя крылечка,
богатырский храп в любом углу:
и под пологамн на сарае,
и на потолке без пологов...
Этакая музыка играет
на заре, бывало, — будь здоров!
А проснутся — ставь чугуи картошки
и в придачу хлеба каравай.
А обедать сядут — все по ложке
зачершут, и снова подливай!
Ну, а если в баню — сто одежек
припаси, такая ведь орда.

Ах, ребята, как вы быстро все же
выросли,
взлетели из гнезда!

Да хотя б поблизости, по селам...
Так ведь нет... Такая, знать, пора.

— Хватит разговоров невеселых,
батя! Нету худа без добра! —
Шурка подмигнул братанам: — Нету!
Зря ты тень наводишь на плетень.
У тебя ведь, как наступит лето,
праздник в доме чуть не каждый день!
Тот с женой,
тот с внуком-шпингалетом
прикатил... И встреть, и проводи.
У тебя все лето на столе-то
харч не деревенский, погляди.
Постоянно в кадке бродит пиво...
И совсем не зря по деревням
люди про тебя твердят: «Счастливый!»
Зависть не скрывают: «Сыт и пьян!»
— Да, счастливый!
Правильно решили
люди... Уж такой во мне замес!
Немцы десять раз меня убили,
я — назло им — десять раз воскрес!
И пришел! И встал опять у горна.
Встал не по указке чьей-то, сам!

Я — счастливый. Верно...

Но и гордый!

Гордый потому, что сам с усам!

Потому что отродясь не бегал
от работы:

 молотом стучал,
печки клал, оковывал телеги,
и дома рубил, и мед качал...
Вот он на столе...

А ну-ка, с медом.—

Чокнулся: — Вы вот что знать должны:
пуще-то всего перед народом
вами я горжусь, мои сыны!
Вами...

И еще хочу заметить:

счастлив я не тем, что ем и пью,—
счастлив, что вы есть на белом свете,
носите фамилию мою.

Но бывает — маюсь думой, старый:
вдруг да снова... г р я н е т...
Ведь тогда
шестеро Ивановичей встанут,
встанут в строй для ратного труда.
Встанут, молодые, стиснув зубы,
зная точно, биться за кого...

Родине, конечно, будет любо.
Ну, а нам-то с маткой какво?!
..

Днями и бессонными ночами
нам не знать тогда забот иных:
всех вас шестерых жалеть,
в печали
писем ожидать от шестерых.

Шурка перебил: — Опять ты, батя...
Ну не тронь ты этого, не тронь...

Замолчал. Вздохнул:
— И верно, хватит.
Хватит! Будем петь. Бери гармонь! —
Ахнул («Хорошо, стервец, играет!»)
и запел, подавшись весь вперед:
«Елена меха раздувает,
а Ваня железо кует...»

Песня на мотив, что знает каждый.
А слова — всего один куплет —
сами из груди его однажды
вырвались... И лучше песни нет
для него с тех пор.

Ведь так бывало,
что жена — и это не пустяк! —
в самом деле пламя раздувала,
ну, а он ковал... Бывало так!
А порой брала — хватало духу! —
и кувалду и лупила: н-на!..
К дому ж (он сворачивал в чайнуху)
шла, гремя кирзóвыми, одна.

Шла, почти бежала: к дому, к дому!
(«Пастухи, наверно, пригнались».)

И цеплялись на ходу к подолу
Колька, Ленька, Васька — заждались.
А Сережка, головой кудельной —
весь в нее — белея впереди,
с ревом из тележки самодельной
на руки просился...

— Погоди,
погоди, сынуля... Вот Пеструху
подою да загоню овец...
Васенька, а ты беги в чайнуху —
он тебя послушает, отец...
Только ты не бойся... Он за стопку,
ну, а ты...
— Я крикну: дем домой!
— Правильно... Чтоб денежки без толку
он не тратил больше, батька твой.

...Может, это вспомнилось Елене,
может, что другое — не понять.
Уронила руки на колени,
глянула зареванно опять
на застолье...

Дядька, тяжелея,
издали Сережке покивал:
— Плачет... А с чего?..
Тебя жалеет!
Потому как дома не жывал
настояще... То ты в интернате,
то ты в этом самом ПТУ...
А теперь вот в армию укадишь...
Жалко — доведись тут хоть кому.
Ну да ладно...— Он гармонь потрогал
и сказал — отец, глава семьи:
— Вот что... Попляши-ка ты, Серега,
мать в остатний раз повесели!

И когда Серега встал и бухнул,
он, окинув взглядом молодца,
крикнул:
— Эх, сюда б еще Колюху
да и Леньку из Череповца...

Всех! И пусть бы грянула, ретива,
на полу на этом молотьба,
пусть бы,— он притопнул,— раскатилась
бабкина по бревнышку изба!
Рухнула бы, словно от тарана...
Только б —

мне таиться не с руки! —
знали все, какие у Ивана
выросли ребята-мужики!
Уж они пойдут — так без оглядки...

Всей деревне слышно, как бомбят
белый пол под ярый звон трехрядки
трое рослых дядькиных ребят.

1971



Она не скажет...



1

Услышу ль сосен шум в полдневный час,
журчанье ль струй средь камушков у брода,—
о люди, мысля я, у всех у нас
есть м а т ь одна
по имени П р и р о д а!

У неѣ для всех хватает доброты...
И мы живем, запечатлев навеки
в душе
ее прекрасные черты —
поля, луга, леса, моря и реки.

2

Придите к неѣ, когда у вас печаль,
и, мудрая, врачуя вашу душу,
Природа распахнет пред вами даль
и ветром, как рукой, глаза осушит;

представит вам сто радостных примет,
ромашек простодушных «чет» и «нечет»,
и вечное: «Все суета сует» —
на языке осинок налепечет.

...И если безмятежности полна
душа,—
справляйте пир с Природой рядом!
Отзывчивая, щедрая, она
ничем вам не испортит вашу радость;

краснее окуневого пера
зажжет зарю рыбацкую над плесом,
удачей наградит, и для костра —
сварить уху — валежника подбросит..

Три клада у Природы есть: в о д а,
з е м л я и в о з д у х —
три ее основы.
Какая бы ни грянула беда:
целы они — все возродится снова.

Но если... Впрочем, в наш жестокий век
понятно всем, что это е с л и значит.
О человек! Природа-мать ни рек
и ни морей
от глаз твоих не прячет,
ни росных трав, ни голубых небес...
Цени ее доверие, Природы!
Не обмани его!
И в темный лес
входи, как в храм под мраморные своды.

Ты — Человек. Ты — царь Природы. Так,
поскольку все в ней сущее подвластно
тебе... Живи, сверяя каждый шаг
с Природою — и будет все прекрасно!

И царские замашки не лелей
в душе, и не давай себе свободы...
Ты — царь Природы, так.

Но знай: трудней
почувствовать себя в е н ц о м Природы!

6

Природу покорить?! Ничьи уста
надменной слов не молвили отроду.
Рабыней нашей — логика проста —
намеревались видеть мы Природу,

объезженной лошадкой: повернешь
куда захочешь — лишь тряхни уздечкой...
Мы — дерзкие сыны ее! И все ж,
и все ж нам от н е е зависеть вечно!

7

...Малыш, припав к груди беззубым ртом,
улыбчиво кося на маму глазом,
еще совсем не ведает о том,
как многим он ей, в сущности, обязан.

Не замечает он ни доброты,
ни ласки материнской, ни заботы...
Ты — взрослый. Ешь и пьешь. И рвешь цветы.
Цени Природы-матери щедроты!

8

Но ты, оставшись с ней наедине,
легко решаешь: «К черту берендейство!
Кому-то можно, видите ль, а мне
нельзя?!» И торжествует вновь злодейство.

Дымится лес. И пучится река
от взрыва... Но ни жалобы, ни вскрика
тебе вослед. Лишь лямки рюкзака
скрипят...
Увы, Природа безъязыка.

Взглянув на то, что смято, сметено
в очередном разбое или раже,
не утешай себя, что все равно
Природа никому о том не скажет.

Она не скажет, да... Но не простит!
И час настанет: лично ли, заочно —
она тебе жестоко отомстит!
А не тебе — так сыну. Это точно.

Случится даль да глушь нам одолеть —
мы шутим, сбросив белые перчатки:
«Закон — тайга, а прокурор — медведь!»
И в ствол вгоняем порцию свинчатки.

Палим во что попало, — жаден глаз! —
и рубим, и взрываем, и корежим...
Природа-мать ждет милостей от нас.
Взять их у нас она, увы, не может.

«Я не люблю природу! С детских лет
питаю неприязнь к полям и рекам».
Слыхали вы хоть раз от человека
слова такие?
— Нет.
— Я тоже нет. —
Все, как один, на сотнях языков
клянцтся ей в любви нестремимой...

Но кто же, кто «наставил синяков»
ей, всеми нами преданно любимой?!

От берегов, закованных в гранит,
от улиц, где ни ямок и ни кочек,

нас тянет в луг ли, в лес ли, где звенит
не речка даже — малый ручеечек.

Ах, плохо ль у воды ли, на воде —
кто станет спорить! Но все реже, реже
встречаем мы зеленый берег, где
пойдешь босой — и ногу не обрежешь...

13

Какие снятся рекам чудеса —
нетрудно угадать теперь, пожалуй:
в глубинах отраженные леса
и рыбы, как блестящие кинжалы;

продранный сквозь чашу напролом
и капли с губ роняющий сохатый,
и белый лебедь, розовым крылом
по синей глади бьющий, как лопатой.

14

Лес — самая высокая трава.
Я в той траве — не больше как букашка.
Взгляну на ель — кружится голова,
на сосны гляну — падает фуражка.

А лес шумит... И словно слышу я
глас чей-то высоко над головою:
«Смотри не наступи на муравья:
он пред тобой — как ты передо мною».

15

Лес для тебя, я знаю, лишь дрова.
Но для зверей и птиц он, лес,— жилище.
И закатать по локоть рукава
ты не спеши, сжимая топорнице;

не учиняй в чужом доме разбой,
топор вгоняя в комель с разворота,

лишь только потому, что пред тобой
в тот дом всегда распахнуты ворота.

16

Ах, трудно ли, ножом вооружась,
раздеть березу — тихую простушку,
и нацедить прохладной крови кружку,
и затоптать ее сорочку в грязь?

Она в лесу останется стоять,
как черный вскрик о том, что где-то рыщет
двуногий зверь с ножом за голенищем...
И роща будет в страхе трепетать.

17

Вам, Роберт, Гера, Феликс,
в чьи глаза
сняла гладь священного Байкала,
вам, кто кинжалом имя вырезал
на лиственницах, выросших на скалах;

вам, Эрик, Эсмеральда, Ибрагим,—
романтикам, то бишь «землепроходцам»,
пою я славу!.. Вдруг да не придется
прославиться вам чем-нибудь д р у г и м.

18

Твержу, на тополь глядя сквозь окно:
— Есть смысл в великом жизненном завете:
«Когда хотя бы дерево одно
ты посадил — не зря гостил на свете».

Но коль тебе на это, старина,
ни разума, ни воли недостало —
не тронь хотя бы тополь у окна...
И этого с тебя не будет мало!

«Зеленый друг» — так пишем мы подчас
и говорим про лес. И в час досуга
мы навестить всегда готовы друга:

— В лес, в лес! — И он одаривает нас
всем, чем богат. Там травы до колен,
а там грибы... Не сбейся только с круга.

Но честно ль это: все забрать у друга
и ничего не дать ему взамен?!

Что там ни говори, а факт таков,
сколь ни был бы тебе он неприятен:
в тайге теперь медвежьих уголков
не больше, чем на карте белых пятен.

Гремит тайга! Конец медвежьим снам
во тьме непотревоженной берлоги!
...А не везде еще, где нужно нам,
повален лес, проложены дороги.

Да, силы стали слишком неравны.
В наш век машин, с живой природой в споре,
мы — люди, коль взглянуть со стороны,
как два боксера разных категорий.

Нам не в пример — у птиц и у зверей
все та же скорость, та же все защита:
клыки да когти, крылья да копыта...
Командуй «брек!», судья. Да поскорей!

В поля я вышел. Сто в полях дорог...
А на душе досада и тревога:

кто где проехать вздумал, кто где смог —
там и проехал. И легла дорога.

След гусениц. И снова след колес,
глубокий след, по озими, по лугу...
Такое чувство: будто кто нанес
жестоко и безвинно рану другу.

23

От блеска рамп и праведных трудов,
случайной снедью сумочки напичкав,
бежим, бежим, бежим из городов
на «Волгах», мотоциклах, электричках,
чтоб надышаться воздухом равнин
и отоспаться в тишине на даче...

Да, верно: что имеем — не храним,
а потерявши — тоже верно — плачем!

24

...И вот мы на Луне, в конце концов,
земляне! Обернулась сказка былью.
Мы вышли на «крыльцо».
И нам в лицо
пахнуло нежилою мертвой пылью.
А что там — дальше? Может, пыль опять?
Сигналим в космос мы — ответа нету...
И так нам, людям, хочется обнять
счастливую из всех
свою планету!

25

Кто-кто, а мы-то знаем, что она
одна такая в солнечной системе.
Несется, птичьим щебетом полна,
и плеском вод, и шелестом растений...

На ней есть ж и з н ь. И, как всему венец,
на ней есть р а з у м.

Он могуч. Он может
жизнь эту иль украсить и умножить,
иль в прах ее повергнуть, наконец.

26

Я говорю: ты болен, шар земной.
В твоей коре ракеты, как нарывы.
Тебя, не раз крещенного войной,
вновь лихорадят атомные взрывы.

Ты плохо спишь — гудят твои бока.
Ты трудно дышишь — копоть в атмосфере.
И страшно мне, что этого пока
еще не осознал ты в полной мере.

27

Когда бы я не знал, как бьет хвостом
на звонкой жилке щука, как под осень
ядренный рыжик, стоя под кустом,
росу как будто в рюмочке подносит;

как журавли отчальную трубят,
как эхо
 повторяет рев лосиный,—
боюсь, я не любил бы так тебя,
как я сейчас люблю тебя, Россия!

28

Когда б я знал лишь, как на площадях
шуршит асфальт от шин, горят неоны,
как распивают квас в очередях
и сотрясают небо стадионы;

как мутная ленивая вода
течет в ущельях каменных кварталов,—
я Родину любил бы и тогда,
но мне б всю жизнь чего-то не хватало...

1971

Письма из деревни

ВСТУПЛЕНИЕ

Всем нам в назначенные сроки,
в урочный час, в счастливый день,
приходят письма из далеких,
больших и малых деревень.

Всем нам, кто родиной оттуда,
кто от земли свой начал путь,
всем, у кого еще покуда
есть там, в деревне, кто-нибудь.

(Не отчий если дом, так тестя,
помалу дышит, не забит...)
Кто не забыл родные веси,
и сам ответно не забыт.

А кто забыл — к чему упреки?!
Бог, так сказать, ему судья...
Мои края из всех далеких —
не очень дальние края.

Сначала поездом полсуток,
потом «ракетой» три часа,
да от райцентра на попутной,
через поля, через леса,

часок — с горушки на горушку,—
коль сухо, коль не замело...
И — все!
И — здравствуй, мать-старушка!
Встречай, родимое село!

Но нет уж матери на свете.
И дома отчего давно
нет у меня. Мне в душу светит
теперь лишь дядькино окно.

У дядьки, с прочими в сравненье,
все есть:
 сынов, к примеру, шесть.
И десять с той войны ранений.
И специальностей — не счесть!

Кузнец (работал по железу
лет тридцать), столяр, пчеловод,
печник... Всем нужен до зарезу,
всяк было в дом его зовет.

Всяк в праздник стольный
 и не в праздник
его уважить норовит...
Да и теперь — ну, выпьет разве —
без дела дядька не сидит.

Хотя давно уж не у горна —
сил нет. К тому ж нужда не та...
В избе его теперь просторно:
сыны ушли «на города».

И навещают только летом —
с детьми и с женами... И я
в разгаре лета — каюсь в этом! —
стремлюсь попасть в свои края.

Пройтись с косой на зорьке ранней,
сварить уху на берегу...
Но иногда свое желанье
я все ж исполнить не могу.

И вот, когда вершину лета
уж перевалят облака
и грянут осени приметы —
овладевает мной тоска.

И я, заметно для домашних,
спешу, угрюмый, по утрам
опустошить почтовый ящик
в надежде — нет ли писем там...

Они приходят, хоть не часто:
и месяц нет порой, и два...
Тем дольше в сердце мне стучатся
простые писем тех слова.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

День добрый, родич!
С пламенным приветом
к тебе твой дядька (в бытности — кузнец).
Прости меня: замешкался с ответом —
и то мешало сесть за стол, и это...
Но вот собрался все же наконец!

Да и писать-то — хватит на страницу —
особого и нечего пока.
Живем да хлеб жуем, как говорится...
Ну, правда, я опять попал в больницу,
сказать по правде, из-за пустяка.

С чего бы вдруг — открылась снова рана!
На костылях не двадцать ли два дня
скакал...
Опух у т е л е в о е к р а н а!
Но обошлось покуда: как барана,
на этот раз не резали меня,

Елена лечит руки. Ей уколы
назначили. И ванны. И массаж.
Что делать: пооббили мы подковы,
исхрястались донельзя, бестолковы...
И то: нелегко был возок-то наш!
Нелегко! Ну, да ладно. Кончим с этим...

Позволь теперь от всей моей семьи
сказать тебе спасибо, что отметил
ты нашу жизнь, как есть она, в газете,
ну, то есть поместил в стихи свои.

Такое, знаешь, было ликование
в душе! Не ожидал под старость лет.
Соседи мне: — Читал ли, дядя Ваня?
— Нет, не читал... — тарашусь я в ответ.

Хитрю. А мне газету в одолжение
суют. — Очков-то нету, как на грех.
— Ну, слушай, коли так... —

И с выраженьем
и — что особо важно! — с уваженьем
читают... Внучка — эта пуще всех

старалась. Похвалил ее, воструху.
Назавтра, слышу, шпарит наизусть!
Заставила всплакнуть-таки старуху.
И у меня едва хватило духу
сдержаться: вновь случится —
не сдержусь...

Спасибо, брат! По этакой по круче
провел у всей России на виду...
Дай бог тебе и впредь строки летучей,
и смысла в ней, и всех благополучий
в П о э з и и и в будущем году!

Жаль только,
что не полностью в газете
помещено... Читайте, мол, журнал.
Ну, а журнала, как почтарь ответил,
такого в целом нашем сельсовете
никто в глаза отроду не видал.

Теперь о жизни...

Вроде уж писал я:
до снега заготовили дровец.
Ванюшка трои тракторные сани
припер. Пилили с бабкой лично сами.
Сложили. Все в порядке, наконец.

Потом, опять на тракторе, из лога
по снегу сена вывезли стожок.
На эти дни случился, слава богу,
наш младший из Череповца, Серега,
а нет бы... В общем, здорово помог.

У бабки, знаешь, руки-т поослабли,
да ведь и я немало потерял...
Теперь — как говорят, казак без сабли —
тихонько гну салазки да на грабли
приготовляю к лету матерьял.

Да рамы выполняю по заказу,
да сети помаленечку вяжу...
И, чтобы не отстать от жизни,
разом,
одновременно с этим краем глаза
хоккей по телевизору гляжу.

Хорошая по мне так передача!
Жаль, шайба только очень уж мала...
У Верки в магазине недостача.
На складе обдурили, не иначе,
себе, конечно, Верка не взяла...

Ты пишешь, что деревню нашу скоро,
как все неперспективные, снесут.
Мутит меня от этих разговоров.
Я лично ни в Архипово, ни в город
не собираюсь... Я надеюсь тут

дожить свой век! И кто такую бучу
затеял — не пойдем мы, старики...
Деревни-то не так уж трудно в кучу
сташить зараз куда-нибудь на кручу...
А ты попробуй землю сволоки!

Не за лесом она, так за болотом,
за озером нередко, за рекой...
Вот будет председателям заботы
весной ее, родную, обработать,
когда туда дороги никакой.

Ревнивая она необычайно,
земля-то наша! Любит, чтоб мужик
под боком был... А нет — так заскучает,
поддастся лесу живо, одичает,
да так, что не отыщешь и межи!

Иное дело, знамо, на Кубани:
там степи — не охватишь взглядом вдруг.
Хоть на машине дуй, хоть на комбайне...
А тут... Нет, ты, наверно, поприбавил...
К тому ж у нас, писал я, новый клуб

почти готов... А ты — переселенье!
Покрашены и стены, и полы,
и занавес повешен... К сожаленью,
не ладится чего-то с отопленьем:
как будто завезли не те котлы...

Ну, верно, что и некому, пожалуй,
ходить в тот клуб уж... Строили пока,
кто помоложе — в город убежали,
а новых бабки, вишь, не нарожали
(прости за эту шутку старика),

Семь ребятишек на три класса в школе.
А было, знаешь, по десять в одном!
... Да, круто, брат ты мой, наш хлеб посолен!
Но ничего! Живем!
Шуруем в поле
и на дворах своих...

Чего же боле?!

Ну вот и все, пожалуй, в основном.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

У нас весна. Сжигает ветер вешний
на жнивах посиневшие снега.
Скворцы поют утрами на скворешне...
Подвозят ко дворам в бригаде здешней
на тракторах последние стога.
В деревне грязь: лишь ступишь —
по колени...
В заулках по сравнению с зимой

заметно поубавилось поленниц...
А в остальном — живем без изменений,
как и всегда: из дому да домой.

Сельмаг наш (я писал тебе: растрата
у Верки получилась на беду)
уж месяц как закрыт и опечатан...
Судили Верку: вышло — виновата.
И сняли. А замену не найдут.

Из города никто не едет: что ты!
Ну, а своих — кого? — перебери.
Доярку ежли только снять с работы...
Вот и таскаем — не было заботы! —
с поселка хлеб да сушим сухари.

А дел и без того весной немало.
Чуть свет — уж я на озеро бегу:
«Чего-нибудь да, думаю, попало.
Чтобы пустые рюси — не бывало...
Успеть бы только с рыбой к пирогу».

Домой едва плетусь, особо в гору.
Скорей свалить бы ношу у ворот...
А после — пчел готовил к медосбору:
их надо подкормить об эту пору
и выставить все ульи в огород.

А там уже, глядишь, пора за грядки
приняться: торф стаскать и перегной,
картошку посадить из-под лопатки...
Вот перечень (конечно, очень краткий)
моих забот, нагрянувших с весной.

Все в кучу, разом. И хоть маловато
силенок, а не падаю. Креплюсь!
Ну, правда, обещаются ребята
на выходные. Лишняя лопата
не помешает: пусть приедут, пусть!

Насчет охоты пишешь мне вопросы...
Ток — в самой что ни есть сейчас поре.
Не знаю, — сколько есть их, лирохвостых,
а слышу, что бормочут на заре.

Ну, мне и это в радость: значит, живы,
до основанья не перевелись.
Ведь удобренья, где их положили
с весны — у кромки поля, у межи ли,—
там и лежат нередко — разберись!

Пока она к тому привыкнет, птица,—
года пройдут. К примеру, до сих пор
он, тетерев, машины не боится...
И человек, который не стыдится,
подъехав, бьет его чуть не в упор!

Дошло, что без ружья или винтовки
теперь уж ни один не ездит, пес...
Стреляют по пути в командировки
и «газики», и эти... «жигулевки»...
Стреляет, слышал, даже лесовоз!

Кто где сумел... Ни счета, ни учета.
Глухарь попался — лупят в глухаря
(он на пески летает из болота)...
Но это же разбой, а не охота,
грабеж — еще точнее говоря!

Не знаю я занятия бесчестней...
Эх, нам с тобой бы, как тогда, на ток!
Прийти, костер разжечь на старом месте...
И не убить — послушать только б песню,
полюбоваться им еще разок!

Возможно, что и нет того уж тока:
лесов-то сколько срублено окрест...
Но был бы я, как прежде, в полных соках,
проверил бы. Не так уж и далёко
до тех, отцом завещанных мне, мест.

Я до войны летал туда ночами,
ни леших не боясь и ни зверей...
Вот так... Живу, как видишь, без печали...
А пенсию я ныне получаю
побольше бабки — семьдесят рублей!
Как инвалид... Уважили солдата!
Ну, верно, частью трачу на вино.
Хватает: не скажу, что маловата.

Да я и подработаю когда-то:
заказов и теперь еще полно.
В фонд мира — попросили — дал десятку,
за что в газете нашей «Новый путь»
отмечен был...

А Ленька мне трехрядку
привез и насмешил меня и матку...
Ну ладно, в праздник, может, для порядку
еще и поиграет кто-нибудь.

А я — никак... И пробовать не стану.
Остыли, парень, пальчики мои,
окаменели в кузнице суставы...
Все. Пожелай, по старому уставу,
ни косточки мне и ни чешуи!

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

...Немного задержался я с ответом.
Уж ты прости меня, брат... Всё дела
да случаи. И дива нету в этом:
июнь идет. А жизнь в деревне летом
спокойною отроду не была.

Благодарю тебя за поздравленья,
особо с Днем Победы. Для меня,
для фронтового то есть поколенья,
и для всего, пожалуй, населенья
нет и не будет праздничнее дня!

Поэтому отметили, как надо:
кто пил, кто пел, кто слезы лил рекой.
— Иван Васильич,— бабы, сидя рядом,
кричали,— вот тебе от нас награда...
— Иван?..— Я поднимался.—
Есть такой!

И принимал — стакан с краями вровень —
свою награду, уж не осуди...
И в ту минуту — так уж я устроен —
она казалась мне дороже втрое
иных наград, что носят на груди.

Не потому, что жаден я до водки,
а потому, что за душу взяло
такое вдруг!.. Эх, села да высотки,
солдатские ботинки да обмотки...
Ну, выпил — и немного отлегло.

Потом Васюха с женкой — порыбачить
нагрянули: Васюха — он рыбак!
Пришлось и их приезд отметить, значит...
Уж так заведено: нельзя иначе.
А скоро обещается свояк,

Алеха, — слесарек из Ленинграда.
Его приезду — тут секрет простой —
Елена, знаю, будет и не рада...
Ну, а отметить встречу надо? Надо!
Да он и не заявится пустой...

Такую, брат, расставит батарею —
в глазах еще до выпивки рябит.
Случалось, я уж вовсе угорею,
мне в угол бы свалиться поскорее,
а слесарь — он как памятник сидит!

Ох, крепок, черт! Ну, правда, помоложе.
И не такую все же прожил жизнь...
Да ведь и мне на батюшку негоже,
пожалуй, обижаться: он мне тоже
вполне приличный вставил механизм.

Он не пил — это помнит люд окрестный.
Ну, вот и... В общем, крепок был мужик.
И если бы не год, тебе известный,
и не навет, облыжный и бесчестный,
не семьдесят — поболее бы прожил.

А наш сельмаг, как прежде, на запоре:
четвертый месяц бедствует народ.
Ты улыбнешься: «Ах, какое горе!
И где он, бедный, при таком заторе,
когда захочет, водочку берет?»

Есть неудобства, верно. Но, коль надо,
оно и за семь верст недалеко.

А вот продукты лучше, если рядом.
Чай, например, не сядешь пить
с приглядом,
как и хлебать без хлеба молоко.

Хлеб, правда, продается. В старом клубе.
Иван Матвееч взялся, инвалид.
Считать он хоть умеет, да не любит,
особенно когда чуть-чуть пригубит...
Ну да ништо — авось не насидит,

не позабудет старого урока
(ведь он уже работал продавцом).
Такая с магазином, брат, морока.
А в город ли, в поселок — нам далёко,
хоть и живем мы к городу лицом.

...Весной неожиданно засуха прижала,
и яровые вышли — никуда...
На горбулях совсем голо, пожалуй.
И писаного плана-урожая
не получить опять нам, вот беда!

Тем паче что и рожь еще побило:
как раз в те дни, когда она цвела,
четыре крепких заморозка было...
Вот так: не в зад природа нас, так в рыло
нешадно лупит!.. Дивные дела!

Ну, а за что — вам, сверху, там виднее.
Мы только замечаем, что она
и норовистой стала, и беднее...
А впрочем-то, и наша перед нею
есть, думаю, немалая вина.

Болота осушаем без разбора,
лес рубим, будто шерсть с овцы стрижем.
И вот — мелеют реки и озера...
Нет, надо поубавить бы задора
и нам. И мы ее не бережем,

природу-то: сознанья маловато...
А техника — хоть гору свороти —
у нас в руках! Бульдозер, экскаватор...

Не то что лошадь там, или лопата,
или топорик, господи прости!

...Как травы нынче? Так, наполовину...
У нас тут клеверов солидный клин.
Пока не косят...
Прибыли грузины
и там, где были старые овины,
взялись поставить новый нам овин.

Точнее, что-то вроде зернотока.
Поставят! Им лишь бревна подвози...
А не подвез, случилась морока —
плати, брат, неустойку! В части сроков
у них характер строгий, у грузин.

Вот так. Да и понять их тоже надо.
Конечно же, не ради киселя
за тыщу верст их ехала бригада,
а ради, брат, солидного подряда
и ради, брат, серьезного рубля.

Что делать?! Платим! Не из половины —
по полной! Всем! Не только лично им,
и молдаванам — тож... И с Украины
ребятам... И не только за овины —
дел много... Платим — и благодарим!

Ну, вот и все о нашей жизни вкратце.
А если что забыл — так извини...
Уже стемнело. Утром надо браться
за пчел: они теперь как раз роятся.
Зевнул — и нету... Хватит беготни.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

Считают: если пенсию оформил —
одна тебе работа — домино!
А у меня и ныне дел по горло:
одно не кончил — новое подперло,
на зорьке начал — глядь, уже темно!

А тут еще Елена приболела:
давление поднялось... И потому
все — будь оно неладно — бабье дело
пришлось мне, по-мужичьи неумело,
дней десять править лично самому.

Беда. И сенокос как раз в разгаре.
Накошено, а ведра нет... Все дни
подряд, как будто нанят, дождик
шпарит...
(Поэтому не смог тебе я, парень,
ответить сразу, ты уж извини.)

Пропали ни за грош труды — все сгнило:
и то, что было в копнах, и в валках.
Ну, правда, после было любо-мило,
дней семь погожих небо подарило!
Неделю гуд стоял потом в руках!

Ухрястались. Зато теперь кормами
на зиму обеспечен будет скот.
Запас, как говорят, не трет карманы...
У пчелок взятка тоже был нормальный,
ну, верно, много было и хлопот.

В совхозе с сеном нынче будет плоше.
К моменту, как нагрязнул обмолот,
и тот лужок остался недокошен,
и этот, нерасчищенный, заброшен —
сил мало, не справляется народ.

У нас ведь, сколько б ни было косилок,
а без косы никак не обойтись:
иные сенокосы залесило,
а на других — травища в рост, а сыро —
на тракторе попробуй покрутись!

Да что там трактор — тонет даже лошады!
А бросить... Самолучшие луга!
Тут надобен мужик, да и хороший,
чтоб помахать косою мог, и ношу
приволочить, и выставить стога.

Посмотришь — ахнешь: что земля-то
может!

Да если бы и в поле каждый клин
вот так же был обласкан и ухожен —
уверен, что теперь и наш бы тоже
ломился от продуктов магазин!

Да, кстати, он открылся только-только...
Иван Матвеич встал к прилавку вновь.
Открылся... Ну, а что, спроси, на полках?
Да водка! Не берет собака волка!
Да в маринаде свекла и морковь.

Да всякие книжонки и брошюры...
Но водка ходовитей все равно,
поскольку развлечений и культуры
(не то что прежде — только шуры-муры)
в домах и без того полным-полно.

Из каждого окошка: «Шайбу! Шайбу!» —
несется, заглушая лай собак...
Ах, если бы вот так за урожай бы
болеть нам научиться! Точно б так...

Так нет, у нас все тихо: рожь поспела,
ломается, вовсю течет зерно...
Но никому-то, смотришь, негу дела
до этой ржи... Хотя б совсем сгорела —
хлеб в магазине будет все равно!

Нормально это? Ясно, ненормально!
Директору я бухнул как-то раз
об этом. Он ответил: «Очень жаль, но...
Тут надо все обдумать кардинально,
а думать, видишь, некогда сейчас»...

«Сознательности мало — вот причина!» —
через плечо добавил на ходу.
Солидный, представительный мужчина,
какого-то лишенный где-то чина,
он к нам приехал в нынешнем году.

Разболтанности, слышно, не выносит,
по деревням мотается — гроза!

...Эх, а какая, парень, нынче осень!
Чуть ступишь в лес и ахнешь: неба
просинь
да золото берез слепят глаза!

А по чашобам — грузди, что те блюдца!
Волнушки — шляпки в двадцать пять
колец!
Все пропадает — некому нагнуться,
вот утренник ударит — и конец.

А клюквы на болоте! А брусники...
Как бровь тетеревиная, красна!
Азарт, бывало, в эту пору дикий
у баб и девок: оглашают крики
леса: «Ау!» А нынче — тишина!

Моя Елена все же для порядку
и клюквы, и брусники побрала.
Груздочков засолила также кадку...
...Ух, расписался! Целую тетрадку
прикончил, не вставая от стола.

Все. Закругляюсь. Ставлю, значит, точку.
Ты приезжай. Картошки наварю
и рыжиков поставлю и груздочков...
Ночуй одну хотя бы только ночку,
я все тогда тебе договорю.

ПИСЬМО ПЯТОЕ

Как, спрашиваешь, жизнь? Да понемногу.
А новость, коль писать о новостях,
такая: взяли в армию Серегу...
И по причине этой, слава богу,
мы побывали в Перкине в гостях.

Ну, свиделись с сеструхой, потужили:
когда успели столько, мол, прожить?
И у меня сыны уж отслужили,
и у нее уж внук пошел служить...

Вот так. И не заметили, как оба
состарились. Сеструха на меня:

«Совсем забыл. Ко мне все не дорога...
И дети — тоже: встретятся у гроба
ужо... И остальная вся родня...»

И верно, не бывал четыре года
я в Перкине... Не то чтобы оно
далёко иль мешала непогода...
А просто потому, что у народа
теперь гоститься не заведено.

Теперь, вишь, где сбежались — тут
и праздник.

А раньше ждали праздничного дня
и взрослые, и дети — худо разве?
А блюд да разносолов сколько разных
готовили! Съезжалась вся родня!

Чтоб свидеться, чтоб в буднях не утратить
родства — беда и радость пополам!
И дети тут, и кумушки, и сватья...
Спать соберутся — нипочем кровати...
Кто на сарай, кто на пол, кто в чулан,

кто в сеновал, на молодое сено,
глядишь, тулуп иль шубу поволок...
Ну, а застолье — песни непременно,
а также пляска — тридцать три колена,
все брякает — и пол, и потолок!

А пили что! Да пиво! Хмель и солод
у каждого водились про запас...
...Ну, что еще?

Серегу, значит, в город
мы с батькой проводили: парень молод...
Напутствовали: дескать, в добрый час!

А я, уже в саду военкомата,
спросил его: вернешься, мол, в совхоз?
Серега глянул в сторону куда-то,
вздыхнул, повел плечами виновато
и ничего в ответ не произнес.

А у скамьи соседней тоже парни
толкались — городские некрута.

Один из них чего-то на гитаре,
крутя башкою стриженою, шпарил,
а остальные выли: та-та-та...

Какую-то унылую песнюшку
тянули на каком-то языке,
себе и нам выматывая душу...
Ох, воробьи! Послушал я, послушал
и подошел к ним с палкою в руке.

Затихли. И один сказал, кивая
на палку: — Не на нас ли уж, дедусь?
— Да нет, парнишки... — шутку понимая,
ответил я. — Вторая мировая
ее вручила мне... И, хоть кривая
она, а вот ношу — не расстаюсь!

Вот песня ваша... Больно уж не здешний
мотив, прошу прощения, у ней.
Такой, что я подумал даже, грешный:
уж не туристы ль вы из-за морей?

Скривились:

— Хы! При чем тут, дед, туристы?

— Да вижу, — я ответил, — русаки...

— Стар ты, дедусь! — нашелся самый
быстрый.---

Магнитофон у нас теперь, транзистор...
Врубил — и на!.. Любые языки!

— Да, старый я... Но я, ребята,
с о л д а т еще, позвольте доложить.
И грустно мне — ведь вы не за амбары
с девчонками под эти тары-бары,
Отчизне отправляетесь служить!

Не та у песни вашей, парни, нота!
Не такими знали нас враги...
Ох, много командиру вашей роты
придется, вижу, с вами поработать,
чтоб, извините, вправить вам мозги!

Захотели: — Будем благодарны! —
И затряслись опять с гитарой в лад.

— Ну что ж... — поднялся я.—
Счастливо, парни!
Я помешал вам, вижу. Виноват!

И отошел... А после, как Серегу
отдали под команду старшины,
Ольхана встрел — везет же мне,
ей-богу! —
казенную, гляжу, волочит ногу
через дорогу... Он такой с войны.

Не виделись, наверное, лет десять
(он ранен был в сражение за Москву).
— Ольхан! — я крикнул не без
интереса.—

Откуда ты? — Да вон, из райсобеса.
Мотоколяску дали, брат!.. Живу!

А в голосе какое-то томление...
— Так радуйся! — я ляпнул сгоряча.
— Да что уж...— он ответил
с сожаленьем.—

Не подвезло! Высокое давление
во мне... А то бы дали «Москвича».

Эх, чуть пораньше б курочка яичко
снесла!
— Да перестань ты, не жалеяй!
«Москвич» дороги требует приличной.
Мотоколяска ж — легкая, как птичка,
хоть в лес ужо, хоть к озеру на ней!

Тебе куда ведь ездить? На рыбалку!
Да внуков для потехи потрясти
вдоль улицы... Да, коль не сыро, бабку
с корзиною из лесу привезти.

ПИСЬМО ШЕСТОЕ

У нас такая снежная погода
установилась нынче, что беда...
На улице — сугробы: ни прохода

и ни проезда... Этакого года
и не бывало вроде никогда.

Я у крыльца орудую с рассвета
лопатой и метлой, а на уме:
«Что ж, хлебородным, значит, будет лето,
коль сбудется старинная примета».
Ведь лето — так от века — по зиме.

Потом ташусь с кадушкою на речку
(на санках, ясно, кадку волоку),
сенца даю корове и овечкам...
А вечером растапливаю печку
и — любо! — придвигаюсь к огоньку.

Трещат поленья. А с конца сырого
шипят... Гляжу — а мысль моя о том,
что в январе отелится корова...
И, коль зима окажется сурова,
теленка притащить придется в дом.

Вон там, возле порога на соломе,
пускай денек-другой он помычит,
пускай — теперь хватает места в доме —
копытчиками об пол постучит.

Да и ягнят, коль дело будет в стужу,
придется тоже, стало быть, сюда...
Трещат дрова в печурке. А снаружи —
прислушаюсь — метет, как прежде,
вьюжит...

Завалит снова тропку без следа.

Тебе ход мыслей этих, может, странен:
все про теленка, мол, да про ягнят,
когда балет на голубом экране!
А мне — ничуть! Я братец мой,—
крестьянин!

Я с этим вырос! Так что — виноват...

Мне люб навоза запах... И полезен!
Мне нравится скотину ублажать...
И потому, толкуя о железе,
но хлеб жуя при этом, будь любезен
меня в моих привычках уважать!

У вас там, пишешь ты, ведутся споры:
какие в селах возводить дома?
А что тут спорить? Ведь село — не город,
село живет землею. И, коль скоро
все так, то «догадайся, брат, сама»!

И наш директор (денежки в кармане!)
собрался строить дом в три этажа.
Меня туда, скажу тебе заранее,
и калачом директор не заманит,
а коли что — зарежет без ножа!

Чтоб у меня ни сада-огорода,
где между грядок можно босиком?
Чтоб во дворе цветочки только — мода! —
пылились? И взамен всему — свобода?
Нет! Пусть меня считают дураком!

Я от земли, от дел моих привычных
свободы не хотел и не хочу!
Вы в городе, у вас оклад приличный,
за молоко, за мясо, за яички
заплатите... А я чем заплачу?

Да ведь и то не мало: мне приятно
с утра, лицо колодезной водой
ополоснув, пройтись неспешно к грядкам,
капусту и морковку для порядка
полить, сорвать огурчик молодой.

Поллюбоваться, как меж яблонь пчелы
снуют туда-сюда через овсы.
Как стебелек гороховый крученный,
обняв свою подпорку — прутик черный,
лопочет что-то сам себе в усы.

Да мало ль чем еще она одарит,
земля! Особо летнею порой.
Чего вовек не купишь на базаре,
тем паче в магазине... Так что, парень,
мне счастье трехэтажное не строй.

А то возьму да дерну тоже в город.
А что? Четыре сына в городах!
Чай, примут — не какой-нибудь опорок...

...Ну, ладно. Расписался. Полночь скоро.
Мороз. И плачет ветер в проводах.

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

Позволь мне поделиться впечатленьем
и точку зренья выразить мою
на нашу жизнь в связи с Постановленьем...
Я думаю, большие измененья
произойдут теперь в моем краю.

Пришла-таки пора российских пашен!
Держава вся берется, весь народ!
Ну, а когда народ — сам черт не страшен!
И вот тебе пример: в районе нашем
уже бетонный строится завод.

Что будет изготавливать он? Плиты!
Да, плиты для покрытия дорог!
Они, дороги наши, так разбиты
и так порой изрезаны и взрыты,
что запросто не выйдешь за порог.

Ты знаешь, сколько мы от бездорожья
несем убытков. Нам, коль подсчитать,
ремонт машин обходится дороже
самых машин... Мы без дорог не сможем
жить-быть, или, как пишут, процветать.

Слышал еще, что будут мастерские
построены... Огромные дворы...
Деткомбинат... И новости такие
мне по душе, едят их комары!

Великое оказано вниманье
нечерноземной нашей полосе!
И люди оживились. На собранье,
бывало, хоть объявлено заране,
придет лишь треть — теперь приходят все!

И не молчат. Все знают, коль задачи
поставленные будут решены,

то все преобразится тут... И значит,
тогда еще культурней и богаче,
чем до сих пор, зажить они должны.

Да и теперь живут уже, как моты,
не то что раньше: и копейке рад...
Иным уже работа — не работа:
«За рубль-то? — говорят.— Была охота!»
А рубль-то — семь буханок хлеба, брат!

Забыли, черти, как в нужде-печали,
когда уже закончилась война,
всего по двести граммов получали,
и то неполноценного, зерна!

Как на сарае, с вечера, до пота
тяжелые крутили жернова,
чтоб хлеб испечь,— проклятая работа...
А в пять уж выбегали за ворота —
косить, пока не высохнет трава.

Теперь и в сенокос выходят в восемь,
а в пять уж разогревают самовар...
Иль в магазине взять... Район забросил
недавно в соответствии с опросом
к нам кой-какой, по мелочи, товар.

Сбежались бабы: то возьму и это.
Деньжонок нет? Подумаешь — дела!
Смирнова Люська ситчику для деток
и для себя, любимой, всех расцветок
в кредит на двести с лишним набрала!

Взяла еще и часики вдобавок,
себе опять же... И для мужика
бутылку не забыла...— Ох и баба!
Ловка,— я похвалил ее,— ловка!

— А что? — Она пристала к разговору.
— А то, что за каких-то пять минут
ты, Люся, набрала товаров гору!..
И все в кредит! Аж завидки берут!

И кофточку себе, и дочке платье,
и что сейчас надеть, и про запас...

Ни сном ни духом экой благодати
не знали мы, когда растили вас.

И деньги есть, бывало что, в кубышке,
а ничего не купишь: ситцев нет.
И бабы — обтрепались ребятишки
у каждой — на рубахи и штанишки
перешивали платья прежних лет.

И если узнавали, — ты представь-ка! —
что завезли какой-то матерьял,
то в магазине этом, у прилавка,
с утра в тот день была такая давка
и рев такой, скажу тебе, стоял,

какого, может, даже сам Суворов
не слыхивал. А он ли не бывал
в сражениях?!

Иной, случалось, боров
к прилавку-то без лишних разговоров
пер — не совру тебе — по головам,

Щипнуть хотя б его — так нет, зажаты
и левая и правая рука.

— У нас робяты! — И у нас робяты!

— У нас заплататы!

— И у нас заплататы! —
кричал и падал, словно с потолка,

перед завмагом. Деньги оголтело
совал ему: мол, с вечера стою...

— Врет! Не стоял!

— А мне какое дело?! —

завмаг наш огрызался угорело. —
Кто заплатил — тому и продаю!

И смех и грех... Ты, Люся, и не веришь,
поди-ка: загибает, мол, старик.

Что ж, я не удивляюсь. Я теперь уж
и сам не верю: к новому привык.

Не верю, что в избе еще лучина
тогда светила мне по вечерам,
что я, уже не мальчик, а мужчина,
когда-то удивлялся тракторам.
Ну, а сегодня мне уже не в диво

и телевизор... Дома — дождь не дождь —
гляжу кино, потягивая пиво
домашнее... Я прожил жизнь счастливо,
ты, Люся, знаю, лучше проживешь!

Так мы, из магазина выйдя вместе,
судачили... Ну, все. Пора кончать.
За этим шлю поклон всему семейству.
И жду. Пиши, когда тебя встречать?

ИЗ ПИСЬМА В ДЕРЕВНЮ

(Вместо эпилога)

За полночь давно. А мне не спится:
вновь и вновь листаю — не тома —
белые, в каракулях, страницы
твоего последнего письма.

И, как самолучшую картину,
вижу ясно: вот моя изба...
вот тропинка к нашему овину —
там с утра сегодня молотьба...

Вон гора Высокая. Над нею
темный лес — его я узнаю:
острыми шеломами синеют
ели, словно ратники в строю.

Вижу в поле кузницу. Не слышен
молот, не пыхтят ее меха.
Дряхлая, с проломленной крышей,
доживает век она, тиха...

Лом железный вкруг ее разбросан.
И гниют — седые от дождей —
старые тележные колеса
и станок дляковки лошадей.

Прохожу знакомыми местами
и деревню — всю, какой была, —
вижу...
И какой сегодня стала...
Боже, до чего она мала!

Реденько стоят ее посадки,
если не пусты — полупусты,
реденько, как воинов отряды
возле

штурмом взятой высоты.

Скоро уж конец и им, бедовым...
Что ж, ведь жизнь — она и впрямь река:
не через леса течет и доли —
через годы и через века.

Шире, шире всё ее владенья,
ей границы старые тесны:
затопляет берег промедленья,
подмывает берег тишины,

остров страха, желтый мыс застоя...
Супротив течения той реки
выгребать — занятие пустое,
только намозолишь кулаки.

Я прочел твои листки — и стало
легче мне дышаться — не солгу:
ты хоть и живешь пока на старом,
а душа твоя, душа простая,
все-таки на новом берегу.

Столько в ней забот и непокоя,
веры, и любви, и доброты...
И за то, что я ее строкою
чуть задел, простишь, конечно, ты.

И твои листочки из тетради —
так и объясни ты землякам,
если спросят — не забавы ради
я пустить решился по рукам.

Пусть они, бывлые вспомнив годы,
в чем ты прав поспорят, в чем не прав...
Доброй, старикан, тебе погоды,
дружных всходов и высоких трав!



Дума о Родине



1

— Родина! — преданно, нежно, сурово
произношу я. И вновь, по складам:

— Ро-ди-на!..—

Что это — слово? Да, слово!

Слово, понятное даже врагам.

— Родина! — Ласково, гордо, стоусто
по букварю. И на старости лет:

— Ро-ди-на!..—

Что это — чувство? Да, чувство!

Чувство, названья которому нет.

И объяснения, может быть, тоже...

Словно я выбежал вдруг на крыльцо
утречком ранним — мурашки по коже! —
и увидал, как впервые, в лицо!

Р о д и н у...

Белые копны черемух,
в белых чулочках ватажки берез,
пару рябинок, прижавшихся к дому,
след на траве от тележных колес;
только что дождик просыпался в травы,
зелен до зноя полей изумруд..
Знаю, на свете есть разные страны,
лучшую в мире Россией зовут!

Я довожусь ей не кем-нибудь — с ы н о м.
И по-сыновнему, с первых шагов
помню ее то в алмазах росинок,
то в горностаевой шубе снегов...

Тянет, бывало, вонзиться с разбегу
в белый сугроб... Ух, как щеки горят!
Вот они — залежи русского снега...
Страшно кому-то, а нам в аккурат!

— Сорок! — А мы говорим: «Все в порядке!»
В вечную (в тундре самой) мерзлоту
штреки вбиваем... Живем на Камчатке...
Холодно! Птицы порой на лету
падают...

(Птицы-то что! Коченели,
если припомнить иные года,
в русских снегах, запахнувшись в шинели,
из европейских держав господа.
Были морозы, и верно, жестоки:
кровь у захватчиков стыла не раз.
Но полыхали-румянились щеки
в те знаменитые зимы у нас!)

...Падают птицы. А мы, в рукавицы
сунув привычно свои пятерни,
на Ангаре, далеко от столицы,
в тысячи вольт зажигаем огни!

Сено на тракторах к фермам подвозим...
Да, поглядеть, и в столице самой —
в самые красные даже морозы
мы не сидим сложа руки зимой.

Он и бодрит нас, морозец, и лечит!
И не разлюбим мы это вовек:
с белых небес на ресницы, на плечи
падает... падает... падает снег...

2

Что мне еще в твоём облике люблю,
Родина?.. Строек твоих корпуса.

и про царя Косаря, и царицу,
и про дела бунтаря мужика;

и про засилье правителей разных,
призванных из-за чужой городьбы;
и про веками болевшую язву
междоусобной кровавой борьбы;

и про татаро-монгольское иго
(потом лошажьим пропахшая выть!)
О мой народ! Несравненную книгу,
вижу, тебе довелось сочинить!

В ней —
дух свободы и рабства вериги...
Родина! Я бы солгал пред тобой,
если б сказал, что я вижу в той книге
розовый цвет лишь да цвет голубой.

Черные, вижу, разлиты чернила —
густо притом — на странице иной.
Родина! Ты за беспечность платила
в те времена дорогою ценой.

И за доверчивость — тоже...
Но это
было всегда у тебя до поры.
Ты вдруг вскипала и — грозно, отпето —
шла, занеся над плечом топоры.

И выходила во чистое поле
грудью —
достать чтобы только! — на грудь.
И грохотало над полем: — Доколе
станем хребтину на нехристей гнуть?!

Иль повернем супостата обратно,
или умрем, захлебнувшись в крови! —
И находило терпенье разрядку
в рубке, в которой один за троих.

Да и не в столь отдаленные годы
вновь доказала ты всем под луной,
что — не торгуясь — за честь и свободу
красной умешь платить ты ценой!

Сын твой, солдат твой, я не по бумагам
знаю тебя вот такой... И горжусь!
Верь мне, что я посчитаю за благо,
ежели снова тебе пригожусь.

4

Встану под небом Отчизны, бывало,
думаю, взгляд устремив в даль полей:
сыном назваться — для Родины мало,
всяких знавала она сыновей.

Этот о благе народном хлопочет,
в поле исклестанный ливнем косым...
Тот же — и в старости мамин сыночек,
этот — и смолоду Родины сын!

В дни Революции, в грозные войны
Родина каждому сыну: «Иди!» —
повелевала... Но только достойных
после она прижимала к груди.

И поминала сраженных в атаках,
каменных слез не спеша утереть...
Родина-мать
 может сына оплакать,
сын же — готов
 за нее умереть!

5

Родина хочет не мальчиком — мужем
видеть тебя: продолжается бой...
Но, погляжу я, расплылся ты лужей
в массе сограждан, живешь никакой...

Кто-то о Родине подлое скажет —
ты, кулаки потеряв в рукавах,
встать, защитить не подумаешь даже
честь ее... Ладно, хотя б на словах.

Даже кулик свое хвалит болото,
а для тебя — одинаков весь свет...

Все ты успел. Только вот Патриотом
стать не успел, к сожалению, нет.

В жизни твоей все легко и привычно...
Чья-то о чем-то болит голова,
а для тебя...
 для тебя безразлично
всё! Даже более — всё трин-трава!

5

Общие радости, горести — мимо...
И хоть тебе уж порядочно лет,
стал ты седым уже...

 Но Гражданином
так и не стал, к сожалению, нет.

А ведь без радости жизнь да без боли —
это как стылый в золе уголек.
Хуже того — как похлебка без соли...
Впрочем, все это тебе невдомек.

На полусогнутых, с дрожью в коленях,
ты семенишь, подпираясь клюкой...
А от тебя никакой даже тени,—
даже и в солнечный день!
 Никакой!

6

Родина! Мне уж теперь за полвека...
Но, к путешествиям страстью горя,
я далеко не на всех твоих реках был
и не все твои видел моря.

Больше: совсем я не знаю Урала,
да и Алтая не видел в глаза...
То не с руки мне, то времени мало.
Да и не близко, по правде сказать.

На самолете — и то расстоянье...
Нет на земле необъятнее стран:

в небе — полярное льется сиянье,
в берег
 Великий
 стучит океан;

льдами грохочет в ответ
 Ледовитый;
Черное —
 синие стелет шелка...
А у подножия гор знаменитый
дышит спокойно священный Байкал.

Как я хочу обойти твои доли,
из родников твоих чистых испить,
Родина!
 И
 по сыновнему долгу
всюду тебе, чем могу, пособить.

7

Кажется, столько уж ты совершила,
так непохоже что было, что есть
(коли с достигнутой глянуть вершины),
что не зазорно и дух перевести!

Нет, по утрам — молода и огромна,
в плечах, как прежде, былинно крута, —
ты деловито становишься к домнам,
возле станков занимаешь места;

плуги вонзаешь в весеннюю землю;
в небо взмываешь, турбинно трубя...
Истинно: тот предается безделью,
скуке,
 кто веру утратил в себя.

Ты же — вся в стружке до плеч и в соломе,
ты же — я это заметил давно, —
как человек, поселившийся в доме —
в новом! —
 и в сад распахнувший окно.

Свежестью трав и берез обнадежен,
он произносит с волнением в груди:
— Славная нынче погода! А все же
самые лучшие дни впереди!

Гордая, вся устремленная к свету,
мускулы силою всклень налиты,
с верой такой же
врубаешь в планету,
Родина, шаг свой сегодня и ты!

1976

СОДЕРЖАНИЕ

П. Выходцев. «Всему начало плуг и борозда...» 3

СТИХОТВОРЕНИЯ

Плуг и борозда	11
О тишине	13
«На костореза тонкую работу...»	14
На лугу	16
«Начать бы так стихотворенье...»	17
Черемуха	19
Что ты рвешь свою гармонию...	20
Как немного сердцу надо...	21
Песни в старом доме	22
Веселая рука	27
«В стихах деревенских идиллий...»	28
После войны	30
Черемуха на деревенской улице	32
Перед дорогой	33
Конюх Тарас	35
Работа	39
По ягоды	41
Княжица	43
Разговор с попугайчиком	45
Доска почета	47
Деревенское собрание	48
«Закурить — да бежать»	50
Девчата	52
Когда женится друг	55

Строка моя	57
Живу на земле	59
И моя заслуга!	61
Бани топятся	63
Мать и дочь	65
У реки (<i>По народным мотивам</i>)	68
Первые уроки	70
«Стихи мои о деревне...»	72
«А мне порой дружки-приятели...»	74
«Оглядываюсь с гордостью назад...»	76
«Жара. Перехожу речушку вброд...»	78
«Читаю книжицу изящную...»	80
Русские сказки	82
Бабушкины песни	84
Раздумья в поле	86
Осень в березовой роще	88
Баллада о хлебе	90
Весенний базар	93
Деревенская осень	95
Летний дождь	97
Ласточки	99
Я вышел к стогу	101
Поднимайся, мой дом...	103
На тетеревином току	105
Отцу	107
Не пришедшим с войны	108
Расплата (<i>Пленные под Сталинградом</i>)	110
Парад Победы	111
Про бабу Груню	112
«Той киргизской дружеской вечеркой...»	115
Зимняя дорога	117
Кисть рябины (<i>Осенние этюды</i>)	119
Она мне матерью была	124
От крылечка	127
Россия	130
Не пляшут...	134
Вороны	137
Утром	139
Три сосны	141
Чем дальше в лес...	142
Картошка и цветы	144
Последний парад	145
К озеру	146
Глухарь	148

Пили из речки кони...	150
Ревность (<i>По народным мотивам</i>)	153
Пишите письма матерям	155
Когда сыновья на войне	156
Рожденья 1945-го	158
Перекур	160
В защиту стариков	162
Новогодний тост в кругу ветеранов войны	165
Читая историю	167
Костер, что грел тебя...	169
Зерно	171
Думы пахаря	172
На пашне	174
Разговор	176
Жизнь	178
Лес без подростка	179
Из цикла «Залеточка» (<i>По народным мотивам</i>)	
1. На сенокосе	180
2. У перевоза	182
3. Боевая	184
4. Пускай говорят	186
5. Желание	187
Монолог Природы	188
Сказка для внука	189
На страже сада	190
Я вырос в лесу	191
Один лишь раз...	193
Земляника	195
Кони в кузове машины	197
Глаза и руки	199
Человек живет в делах	201
Годы	202
«Авось!»	203
Мать солдата (<i>Баллада</i>)	205
Слово к ровесникам (<i>В день 30-летия Победы</i>)	208
В День Победы	210
За дом родной	211
Постоянство	213
Хлеб	214
Уехала девочка в город	217
У друга	218
Снимок из детства	219
О погоде	222

Молодая зима	223
«Лягу под березой на траву...»	225
В середине лета	226
Память о воде	228
Катериша	230
Прозренье	233
Городское утро	234
Век прожить (<i>По народным мотивам</i>)	236
Ода петуху	237
Одному знакомому	239
Кукушонок	241
«Везет!»	243
Память рода	244
Поэт	246
Непокой	247
Перед новым делом	248

ПОЭМЫ

Трудное счастье	251
Конек на крыше	275
Окнами на зарю	283
Одна навек (<i>Лирическая поэма с публицистическим отступлением и эпилогом</i>)	306
Песня о кузнеце	328
Она не скажет...	336
Письма из деревни	345
Дума о Родине	371

Викулов С. В.

В 43 Избранное. / Предисл. П. Выходцева.— М.:
Худож. лит., 1979.—382 с.

Любовь к крестьянскому труду, к быту русской деревни, сыновняя привязанность к родной земле характеризует содержание поэзии Сергея Викулова.

В настоящее издание вошли лучшие поэмы и лирические стихотворения из сборников «Хлеб да соль», «Плуг и борозда», «Постоянство» и других книг современного советского поэта.

Сергей Викулов — лауреат Государственной премии РСФСР.

В $\frac{70402-231}{028(01)-79}$ 65-79

Р 2

**Сергей Васильевич
Виккулов**

ИЗБРАННОЕ

Редактор

В. Ефремов

Художественный редактор

Ю. Боярский

Технические редакторы

А. Кузнецова и Л. Жилина

Корректор

Н. Усольцева

ИБ № 1254

Сдано в набор 25.10.78. Подписано в печать А11657 от 08.06.79. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. 20,16+1 вкл.=20,212 усл. печ. л. 15,429+1 вкл.=15,476 уч.-изд. л. Заказ № 1672. Тираж 25 000 экз. Цена 1 р. 90 к.

Издательство

**«Художественная литература»
Москва 07078, Ново-Басманная, 19.**

**Полиграфкомбинат им. Я. Коласа
Государственного комитета Белорусской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли,
220005, Минск, Красная, 23.**